

елена

СТЯЖКИНА

Победитель
«Русской
Премии»

Один
талант



Елена Стяжкина

Один талант

«АСТ»

2014

Стяжкина Е. В.

Один талант / Е. В. Стяжкина — «АСТ», 2014

Елена Стяжкина – писатель, журналист, профессор Донецкого национального университета, живет в Украине и пишет по-русски. Она историк, и потому лучше понимает настоящее и чувствует будущее. Ее прозу называют «женской» и «психологической», но все определения теряют смысл, когда речь идет о настоящем таланте, одном, уникальном. Герои этого сборника тоже наделены талантом – одним на всех. Талантом любить людей, рядом с которыми не светит солнце, и любить родину как непослушного, но единственного ребенка, талантом быть женщиной или мужчиной, жить вопреки, видеть, слышать, соперничать и терпеть. Повести из сборника «Один талант» отмечены международной литературной «Русской Премией».

© Стяжкина Е. В., 2014

© АСТ, 2014

Содержание

Развод	6
Отвращение	27
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Елена Стяжкина

Один талант

*И одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе.*

Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 15

© Е. Стяжкина

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Развод

Разводятся они громко, но уважительно. Прессы, как перца, по вкусу. Без перебора. Павел Иванович держит Ларису Петровну за локоток и говорит проникновенно: «Уверен, что мы останемся друзьями. Близкими людьми». Она смущенно кивает. Павел Иванович хмурится, думает сердито: «Могла бы дать слезу, овца!» Вспышки фотокамер, клацанье затворов.

Их запечатлевают взрослыми, разумными, дружелюбными людьми. Ее – толстой распу-стехой. Его – подтянутым мачо средних лет.

Да, их пути разошлись. Да, по сути, это только формальность. Да, за тридцать лет накопи-лось столько уважения, что не передать словами. Они останутся друзьями, конечно. Но у каждого теперь будет своя жизнь. Нет, дети не против. Дети выросли и не против. Нет, нет и еще раз нет, я продолжаю оставаться поборником семейных ценностей. Просто, вполне воз-можно, они будут формироваться в другой ячейке общества.

С ячейкой получилось не очень, но Павел Иванович улыбается. «Тебя куда-нибудь под-везти?» – спрашивает он любезно. «Нет, спасибо», – тихо отвечает она, не поднимая глаз. Она все еще его боится. Старая дура.

Утром он будет с удовлетворением рассматривать фотоотчет и даст пару комментариев, в которых прозвучит много достоинства и немного грусти.

* * *

Лариса Петровна едет домой. Трехкомнатная кооперативная квартира, купленная на баб-кино наследство, плюс две свиньи, удачно проданные родителями в дефицитный по мясу год. Квартира считается совместно приобретенной. Павел Иванович давно не живет здесь. Но бывает. Он благородно решил не делить «площадь», если Лариса Петровна поведет себя пра-вильно и не будет лезть туда, куда не просят.

Она не будет. Она привычно втягивает голову в плечи, ожидая сухого едкого замечания: «Пирожки? Еда для нищих», «Щеки обвисли, как у бульдога», «Юбка в горошек хороша для деревни», «Унитаз – лицо женщины».

Она улыбается. Как теперь вести себя правильно, если свод семейных законов отменен круглой гербовой печатью?

Как теперь вести себя правильно, если в шкафу нет вещей для жизни? Есть платья «в пол» с открытыми плечами. Есть платья-чехлы для полуденных приемов. Есть пиджаки, которые она любит больше всего. Пиджаки, по крайней мере, никогда не превращали ее в смешную корову. А быть просто коровой она не считает зазорным.

Лариса Петровна разбирает вещи и на все лады повторяет: «Как? Как вести себя пра-вильно?»

Если нет подруг, нет профессии, нет родителей, нет детей, потому что дети в Европе – это хрупко, тревожно и на отцовы деньги: трогать не смей, не порушь.

Она ищет свитер. У нее должен быть – черный, немаркий, самовязанный, мужем прозван-ный «колхозным».

Ищет свитер и улыбается.

* * *

У Ларисы Петровны нет обиды.

Могло быть хуже.

Он мог на ней вообще не жениться. Павлуша-младший, сынок, рос бы байстрюком. Уже бы и спился. К тридцати в поселке не спиться трудно. А у него характер мягкий, отзывчивый, но и любопытный. Ее характер. Спился бы и, не дай бог, умер. И как тогда жить?

Все живы и все здоровы – счастье. А в счастье горевать хорошо, сладко. Развод, негодная одежда, вопросы без ответов... Но в смерти и болезни все по-другому. Отсчет беды у Ларисы Петровны – от Павлушиной пьянки-смерти. Страх, что с сыном случится страшное, не покидал Ларису Петровну никогда. «А вдруг? А вдруг?» – причитала она, рисуя жуткие картины Павлушиного взросления. «Примитивная подлинность, – говорил муж. – Умная Эльза». Сначала смеялся над этим, потом стал брезговать. Пожимал плечами.

Не пара. Это всем было ясно. На экзаменах в институт она провалилась. Не сказать, чтобы хотела стать инженером. Неслась из поселка сломя голову. Не хотела «городского типа», хотела просто города Москвы. С асфальтом, электричеством, отоплением, водой.

Когда вода из крана, убирать – одно удовольствие. Чудом пристроилась ходить по квартирам: мыть, стирать. Готовить городские ее не брали. Пробовали, но воротили нос: сильно жирно. Организация называлась «Заря». Зарплата была маленькая, но хозяйева всегда давали сверху.

У Павла Ивановича она появилась случайно: их всегдашняя домработница сломала ногу. Такое везение. Отец Павла Ивановича был очень ответственным работником. Берегов не видел, не признавал. Выходил из себя по любому поводу. В застольях пел, матерился, читал Маяковского и норовил побрататься с кем-нибудь кровью. В обычной жизни был тяжелым, въедливым и крикливым. Мать, Елена Семеновна, тихой тенью шуршала по квартире: прятала ножи, ставила пластинки, меняла тарелки, подавала чай, носила за Иваном Ивановичем тазики, если тот орал: «Блевать изволю!»

Павел из своей комнаты почти не выходил. Сталкиваясь с Ларисой в коридоре, краснел. Лицо его становилось похожим на помидор «бычье сердце».

По коридору Павел ходил в туалет. Если бы не позывы срамного низа, Лариса могла бы вообще никогда его не увидеть. Не увидеть и не пожалеть.

Громче всего Иван Иванович орал на Павла. Обычно останавливался у закрытой двери в его комнату и заводился с полоборота: «Гений среди удобрений! Сидит, штаны протирает. Ничтожество, хлюпик. Золотая медаль как в жопе сталь. Подтянуться три раза не может. Гнида вшивая. Захребетник. Читатель сраный. Чтoб через пять минут доложил о прорывах на своем участке работы! На мне всю жизнь собираешься ездить? Я тебе путевку в жизнь, а ты мне что? Где показатели? Чем удивишь-похвастаеть?»

В комнате Павла обычно было тихо. Он писал дипломную работу. Весь пол был заставлен книгами. Лариса вытирала их от пыли уважительно. Маркс, Ленин, «Материалы XXV съезда КПСС». Красивые коленкоровые обложки, страницы в карандашных пометках, закладки с картинками из мультфильма «Ну, погоди!».

Лариса помнит: все случилось утром. Громкое, выразительное шествие Ивана Ивановича на работу быстро сменилось на душное придиричивое собрание Елены Семеновны, а завершилось грозными раскатами из комнаты Павла.

Он рыдал, думая, что наконец-то остался сам. Без материных ежечасных проверок, без «держи спину, убери локти», без чая с лимоном, поданного на подносе, без ручного эспандера, который ему запрещалось выпускать из незанятой руки.

«Миленький, родненький, ну что ж ты так? Хороший мой?» – бормотала Лариса, решительно открывая дверь, обнимая, прижимая к груди, стаскивая с него рубашку, расстегивая штаны. «Ну что ты, все же хорошо, хорошо», – она сама его целовала, зная, что так – утешит, усилит, умножит его вечный ноль на что-то важное и значительное. Зная, что не результат, а процесс этого умножения спасет его на минутку. А из минутки – час, а из часа – день, а из дня – уже и жизнь. Он был первым ее мужчиной, но ничего стыдного в том, что делалось, она

не видела. Стыд в голове, в языке, в словах. Тело берет свое честно. На голое комсомольский значок не нацепишь. Вообще ничего не нацепишь, кроме другого голого, которое ух как отозвалось – и щедро, и много, и благодарно.

Отозвалось, привыкло, прикипело, изо дня в день. Павел укрупнялся ею, успокаивался, примеривал и тренировал на ней, уставшей и счастливой, то торжествующую улыбку, то покровительственное похлопывание – по спине, по попе, то начальственный, почти папенькин тон. Она не сердилась, думала только: если ему радость, то и ей радость.

Больше никогда в жизни он не плакал. Возмужал.

* * *

Павел Иванович бреется. Любуется собой. Есть чем: кожа как наливное яблочко. Боялся сначала «бабских процедур», потом пристрастился. С молодостью расставаться трудно. После сорока у нас людей нет. И земли для них нет. И кормлений. Павлу Ивановичу пятьдесят три. Но – мальчик. «Птичий хребет», который так раздражал отца, сейчас в пользу. Мясоросло, зато ни жира, ни пуза, ни второго подбородка, ни одышки. Вчерашняя позорная несолидность сегодня читается как спортивность. «Нужно только выучиться ждать» – и все недостатки войдут в моду, и пороки войдут, и в скором времени, наверное, грехи.

Он тревожится. Не поспешил ли с разводом, не позволил ли себе лишнего, не сунулся ли «попэрэд батька»? Должность у него министерская, гуманитарного блока, а значит, телевизионная и с международным акцентом. Павел Иванович – персонаж. У него есть ампула. Семейные ценности входят, прелюбодеяние – нет. А Лариса его старила. Позорила. Лягушонка в коробчонке. Без шанса на превращение. Сначала журналисты над ней смеялись. Потом стали жалеть. Щадили. Но зачем Павлу Ивановичу снисходительность обслуги? Там, где он сам строит свою жизнь, где казнит и милует, ест и спит, где пьет, шутит и даже иногда танцует, простых людей нет. Вообще нет людей. Только пространство, которое измеряется континентами, и время, настроенное на первые часы страны.

* * *

Хорошо, что он заранее, до всего, придумал Ларисе биографию: не колхозница, а русская немка с родителями, вернувшимися из Казахстана в другие степи, к рекам и даже морям. И не уборщица, а секретарь-машинистка, студентка-заочница, иностранные языки. Он даже фамилию ей девичью назначил новую, а старую постарался забыть. Обмен паспортов по случаю потери родины пришелся как раз кстати. Свидетельство о рождении Ларисы он выбросил.

Надо выбросить и тревогу. Надо выбросить, но Павел Иванович почему-то ждет от нее, от Ларисы, удара. Неспособная ни на что, сжатая им самим до состояния плоского червя, она может сказать свое деревенское: «Ах так?!» Скликать коршунов, падальщиков, кормить их с рук честными слезами и отбить половину. «Белую половину», которая была меньше черной, но именно с нее Павел Иванович демонстративно жил, стараясь, чтобы явные расходы не превышали доходов.

Павлу Ивановичу нравится сытая честность. Он наслаждается возможностью при всяком удобном случае подчеркнуть: «Да, я пришел во власть из бизнеса. Да, я один из пионеров приватизации. Да, я получаю дивиденды. Я советую и вам декларировать доходы. Это очень по-европейски».

Отдать Ларисе половину или пусть даже четверть означает необходимость вывести «в свет» те, другие деньги. Или снизить уровень жизни. Или сидеть и бояться блоггеров, хипстеров и старых товарищей из службы безопасности, которые внесут в первый кабинет список всех

его фирм, офшоров, банковских вкладов, всех осторожно, вдумчиво спрятанных от дележа с теми, кто ныне кормит и правит.

Он боится Ларисы? Неужели он ее боится?

Она не отвечает на звонки. Она не приняла от курьера документы об отказе от материальных претензий. Не приняла – значит, не подписала. Она игнорирует Павла Ивановича? Провоцирует? Хочет, чтобы он приехал сам? Просил-умолял?

Тогда она будет алкоголичкой.

Павел Иванович приглашает пресс-секретаря. Формирует из своего дорогого лица скорбную маску и дает добро на то, чтобы в прессу просочились слухи о том, что Лариса Петровна – сильно пьющая женщина. Сильно и наследственно. В тяжелых запоях она не ведаёт, что творит. Она вредит себе и другим. Павел Иванович лечит ее который год. И вот, спустя месяц после развода, снова рецидив и снова клиника. Ему больно. Но ничего не поделаешь. Они всё еще друзья. И он никогда не бросит друга, в какой бы тяжелой ситуации ни оказались они оба.

Пресса откликается, как женщина, – со стоном, податливо, мягко, но и со страстью, с агрессивно торжествующим финалом.

Павел Иванович – молодец. Он ждет, что Лариса позвонит. Запричитает в трубку, сдастся. Попросит не позорить ее хотя бы ради детей.

На всякий случай Павел Иванович приказывает секретарше не соединять его с женой. «В клинике все частные звонки запрещены. Разговоры только через врача. Иначе не будет эффекта». Девушка-недотрога, дочь товарища по плаванию в бассейне, понимающе кивает. Вздыхает. Жалеет.

Чем дольше Лариса помучается-побьется, тем послушнее будет.

Он мстительно не пополняет счет на ее карточке. Хотя обещал.

* * *

Лариса Петровна прикидывает, как будет жить дальше. Купить новорожденного теленка? Или двух? Просят по семнадцать рублей за килограмм забойного веса. Можно сторговаться по двенадцать. Лариса Петровна уверена. Но выхаживать, кормить, лечить... А если не вылечить? Пропадут деньги, труды. Придет зима, она – без коровы. Если уродит картошка, можно протянуть. А если не уродит?

У родителей была корова эстонской породы – красавица, умница. Любила быка Федьку. Других и близко не подпускала. Зачем-то называли ее Эля. Элеонора. Весь поселок смеялся.

За «эстонку» с двумя отелами просят почти две тысячи долларов. Лариса Петровна скопила на черный день пять. Муж деньгами не баловал: «Зачем тебе? Живешь при коммунизме. Всё, что надо, привозит мой водитель...»

Подарками не баловал тоже. Наряды покупал строго по делу: в одном и том же «в люди» – не комифо. Драгоценности брал напрокат. Если отправлял на отдых с детьми, требовал отчета за каждую копейку. Когда открылась оллинклюзивная Турция, Лариса Петровна вздохнула с облегчением. Она ездила с детьми только туда. К другим – теплым и не очень – морям Павел Иванович возил детей сам.

Случайные деньги стали забредать к Ларисе Петровне, когда дети уехали и Павел окончательно переселился в загородный дом. Он называл их брак гостевым. Два раза в неделю наезжал, с порога презрительно цедил: «Опять в халате! Оборванка...» Но после этих слов хватал ее, прижимал так, что хрустело в спине, и жадно, как будто с голодного края, набрасывался на жареную картошку, свиные отбивные, пирожки и на нее саму. Потом, привычно стыдясь того, что Лариса Петровна считала радостью, комментировал: «Живешь как животное и меня вынуждаешь...» С этим и уходил, она улыбалась, ни о чем не спрашивая, и неизменно находила под хлебницей деньги, оставленные как будто не проститутке, а на общее семейное хозяйство.

С них и скопила.

На пять тысяч Лариса Петровна рассчитывает перекрыть кровлю родительского дома, поставить баню, починить отцовский самогонный аппарат, припрятанный от Горбачева в подполе и забытый там за долгую лежащую батину болезнь. Еще вскопать двенадцать соток польщенной соседями земли, посадить все, что нужно для жизни. И чуть-чуть – для болезни и баловства. На зиму – дрова. Из одежды – пока ничего. Материн ватник, юбки, шерстяные кофты, кирзовые сапоги, пара платков. Соседям не пригодилось. Хоть и пьющие, но про ненужные вещи написали. И о том, что стерегут их, как собака двор. Материны вещи Ларисе Петровне теперь в самый раз. Плюс черный свитер, два пиджачных костюма, плащ и стеганое болоньевое пальто на синтепоне. Лариса Петровна рассчитывает устроиться в школу. У нее – иностранные языки. Немецкий, как у Леночки, и английский, как у Павлуши.

Каждый день она звонит детям.

Павлуша сбрасывает звонок. Скорее всего, сынок просто занят. Он юрист в Бирмингеме, у него много работы. А вечером спортивный зал, друзья, девушка...

Леночка не берет трубку. Наверное, не слышит. Или ей дорого. Лариса Петровна понимает: роуминг и бойфренд. Бойфренд Леночки – немец. Немцы – жадные. Вполне может не разрешать. Но она все равно звонит, чтобы знали – с ней все хорошо, она у них есть. Иногда подкатывает тоска. Страх стучит сердцем о ребра. Но если бы что не так, ей, Ларисе Петровне, уже позвонили бы. На этот самый номер, который каждый день сохраняется в «пропущенных вызовах» у Леночки и «принятых» – у Павлуши.

* * *

Павел Иванович борется с торговлей людьми. Он защищает детей и женщин. Это большая струя. Не нефтяная, но по репутационной емкости сравнимая. Он дает интервью, проводит «круглые столы», участвует в судебных процессах и недавно даже помог в задержании международного сутенера, который напился и забыл «живой товар» в аэропорту. Товар был молодой, вьетнамский и думал, что едет учиться. Вьетнамки сами позвонили в университет и попросили узнать, зачислены ли они и могут ли ехать в общежитие. Они так плохо говорили по-русски, что в приемной комиссии только и сумели разобрать слова «нет паспорта» и название аэропорта. Хорошая формула «как бы чего не вышло» заставила членов приемной комиссии позвонить в посольство Вьетнама. В успешно разработанной спецоперации Павел Иванович был настоящим рыцарем. Мелкие и черные, как семечки, вьетнамки, благодарно гладили его по рукам. Телевизор ничего не испортил.

«Она смотрит телевизор? Она понимает, с кем связалась?» Павел Иванович злится, признавая, что сам виноват и что надо было подписать все бумаги до. Он честно додумывает эту мысль. Привычка «отдавать себе отчет», когда-то вбитая отцом в ухо, зарубленная на носу и располованная ремнем по спине, ведет-тащит его по закоулкам причин и мотиваций. Павел Иванович не подписал бумаги до, потому что ему хотелось быть царем Ларисиной горы. Потому что он рассчитывал еще кое-какое время менять свое благорасположение на ее послушание. Потому что, в конце концов, голая и морщинистая Луна – спутник нарядной Земли. И ясной ночью Луну должно быть видно в окно.

Нет облегчения, нет ощущения сброшенного креста. Если браки совершаются на небесах, то разлучает не развод, а смерть. Мысль представляется неожиданно православной. Павел Иванович собирается сказать об этом своему духовнику. И может быть, своим коллегам, «министрам-капиталистам», среди которых слывет умником.

Отец умников ненавидел, подозревал за ними сомнения, а значит, трусость. Отцова биография прошла мимо трусости счастливой линией неизменной правоты. Ему повезло родиться так, чтобы в семнадцать уйти на фронт, а после всю жизнь верить без колебаний...

Комсомол, партия, смерть вождя, проросшая пшеницей на целине. Гибель первой, румяной и смешливой, жены, чья фотография всегда висела в отцовской спальне. Павел Иванович подозревал, что щеки морковным, почти оранжевым, ей все-таки подрисовал какой-то сельский фотограф, который в этой новой, блестящей жизни вполне мог бы прославиться как стилист.

Отец осиливал дорогу, не замечая, как она побеждала его, отравляя веру реальностью и цинично предлагая за это выпить. Мать, Елена Семеновна, была правильной женщиной. Ниткой. Но ниткой тонкой, шелковой. Таковую не станешь использовать для штопки носков. Отца это злило. Та, румяная, с фотографии, наверное, была ему ближе. От Елены Семеновны веяло холодом, который не считывался тогда как сдержанность или порода, а понимался как отчужденность. Отчужденность не только от отца. А от всего, что было ему важно и дорого. Павел был отцовской неудачей. И потому что внешне походил на мать, и потому что ни веры, ни силы в нем не было. И воспитание не прибавляло ничего, кроме навыка мудрствовать и притворяться.

Все, что Иван Иванович беззаветно строил, рушилось у него на глазах. Мертвело самым главным – детьми. Сыновья и дочери тех, кто проливал кровь, и тех, кто протирали штаны, объединялись странными и опасными желаниями, в которых было одно сплошное личное. То самое, что уже давно казалось побежденным или, по крайней мере, надежно спрятанным от чужих и своих тоже глаз.

«Личного надо бояться. Потому что только общим... Общим добром и держимся... Вот, например, веник...»

Ни веник, ни легко переломленные его прутья, ни жажда общего не помешали семидесятилетнему Ивану Ивановичу назвать своими куски распадающейся страны. «Разворуют без пользы и по миру пойдут. На сохранение берем. Наше спасаем», – говорил он хмуро, вникая в схемы хозяйского использования не пропитых народом ваучеров.

Но из детства и из юности Павла отца – хваткого капиталиста – увидеть было никак нельзя. Невозможно. Ни у кого не нашлось бы ни смелости, ни фантазии.

Отец так упорно выбивал из Павла «личное», что было понятно: выбивает и из себя. Подпитывает криком слабеющую веру. Плюет в будущее в расчете на то, что из плевка получится оазис и будет откуда подать воды.

Стыд. Стыд. Стыд.

Только им прошивалось детство. Ночью и днем – стыд. Он нападал со всех сторон – нет кроссовок, нет друзей, нет победы в забеге на сто метров, нет лица актера Урбанского, нет роста и джинсов, нет таланта, нет сил... Есть прыщи, очки, потные ладони, неуправляемые сны, шепот за спиной. Есть отличные оценки. «Но не факт, – шелестит в ушах голос матери, – что их ставят тебе». Стыд не дым. Дом. Но крыть его нечем. И что с этим было делать? Признать и носить, как орден? Павел и так признавался всегда и во всем – в том, что случайно узнал «плохие» слова, списал на контрольной, позавидовал чужому портфелю-дипломату, не думал о Родине, проснулся «мерзким и мокрым». «И в мыслях не смей! Не смей врать!» – кричал отец. И Павел ежевечерне ходил в его кабинет сдаваться. Иван Иванович очень удивился бы, если бы ему сказали, что в свободное от ответственной работы время он служил исповедником странной церкви, в которой бог не прощает, а значит, не существует.

* * *

Лариса не отвечает на звонки. Не открывает дверь. И не зажигает вечерами света. Павел Иванович отпускает водителя, садится за руль сам. Едет к дому. Сидит в машине минут сорок, час. Время вечернее, телевизионное, сериальное. В ее окнах темно.

Он может подняться, войти. У него есть ключи. Он вообще может остаться. Он здесь прописан. Если она поменяла замки, он может вызвать слесаря. Почему нет? Все по закону.

А если она умерла?

Павла Ивановича охватывает паника. Он дает ей волю, зная, что не победит, но переждет. Он позволяет ей, панике, разгуляться, нарисовать свои примитивные, безвкусные, с перехлестом полотна... Он позволяет.

Мертвая в квартире. Запах. Милиция. Соседи. Пресса. Или сначала соседи. Звонок ему на службу. И сразу же в редакцию ток-шоу.

На улице? В транспорте? В подворотне? Без документов. Давно лежит в морге. Неопознанное тело держат там... Сколько? Месяц? Потом хоронят за государственный счет в братской могиле. С мужиками.

Леночка спросит: «Где мама?»

Ему выразят сочувствие? Ему, чья жена, пусть бывшая – ну и что? – похоронена с бомжами? Его будут утешать? Соболезновать? Да разорвут в клочья. И те, кто улучшил свое семейное положение, женившись на «губах-уточках», и те, кто изнывал от скуки, оставаясь верным первому брачному призыву. Его у-ни-что-жат. И выбросят на потеху публике. «Тебе же нравится быть шоуменом, вот и будь...»

Он может уехать. Прямо сейчас, пока никто никого не нашел, потому что еще не искал. Паспорт, деньги, самолет. Достанут? Или отпустят? Конечно, отпустят. Посмеются и отпустят. Но будут говорить и помнить: клоун, дешевка, не мужик.

Не мужик. Не мужик. Не мужик.

Идиот.

Эксгумация. Генетическая экспертиза тела. Всех тел из всех братских могил? Как это вообще делается?

Пусть отдадут. Наше спасаем. А чужого не надо.

Пусть отдадут. И будет у Ларисы приличная могила. Или хорошенькая, приватная, позолоченная урна. Павел поставит ее на каминной полке в доме, который построен на берегу чужого лазурного моря. Он будет глядеть на нее. Улыбаться. Он будет говорить: «Знакомьтесь, друзья, это моя лягушонка в коробчонке приехала».

Когда паника отступает, Павел Иванович набирает номер сына: «Павлуша? Ты как? Что нового? Как погода? Мать звонит? Из клиники к тебе не сбежала?»

* * *

Поездом, автобусом, попуткой. Если попутки нет – пешком. Когда-то ждали, что будет свой вокзал. Прикидывали, как придет первый поезд и люди выйдут из вагонов на центральную площадь. Прямо к клумбам с мальвами и васильками. Старожилы говорили, что видели чертежи – и здания, и перронов. И кто-то из них даже лично разглядывал проект, где точно были рельсы. Пока никудашние, но по направлению – точно «наши».

А через овраг – мост на сталебетонных столбах. Широкий, чтобы и для пешеходов дорожка, и для грузовика, и чтобы поезду – чтобы поезду место. Мост тоже был в чертежах.

Овраг, наверное, всё и испортил. Разъезжался по сторонам, прокапывал землю и вширь, и вглубь. Было место, с которого он даже казался пропастью. За оврагом не поспевали ни чертежи, ни люди, ни власти.

Где-то очень наверху поселок считался местом необязательным. Географической погрешностью.

Ветрам здесь не давали имена только потому, что на каждой улице здесь мог дуть свой. В землю не верили – сухая, степная, она могла родить трижды за лето, а могла потрескаться, как стариковская пятка, и загорать года два кряду. Снежные, морозные зимы длились распутицей до самой Троицы. Осень мелькала, как яркие юбки гулящей девки. Весна тоже была с

характером, ее особо не ждали: то ранняя, то поздняя, то сразу жара и лето. Просто сажали, пололи, поливали. Надеялись.

Здесь, наверное, всегда было так. Киммерийцам место не приглянулось, скифы пронесли мимо, вытесняя по дороге сарматов, а те – на память, что ли? – оставили могилы: спешные, снаряженные невнимательно и как будто впопыхах. Считалось, что сарматы стремились к морю. Километров двадцать на юг – и море. Не берег – обрыв. От горизонта до горизонта. Но может быть, раньше был берег?

Случайно, наскоком здесь не прижился никто. А потом беглые и завзятые решили здесь спрятаться. От кого бежали – неведомо. Мало ли? В такой большой стране всегда есть от кого бежать. Среди степи, на виду – дурацкая схованка. И потому – надежная. Умный ищет там, где ему, умному, хорошо и правильно. Там, где мог бы спрятаться он сам. А дураку везде хорошо.

Лариса улыбается. Теперь она сама – немного беглая. Теперь – понимает. Здесь летом не всегда солнце, а зимой необязательно мороз. Из всех правил действуют только восходы и закаты. И больше рассчитывать не на что. Живи – справляйся. Можно купить козу. Хотя коза всегда считалась поражением – и заслуженным, и признанным. Но все возвращенцы начинали с козы...

Какая глупость – чемоданы на колесиках. Какая только глупость, если асфальт кончается быстрее, чем цивилизация, какие колеса? Только ноги. Ноги и пыль-грязь.

А машинку стиральную жалко. Она – чудо. Быть может, самое чудо из чудес, если считать после детей.

Стирать в семи тазах, полоскать в ванной, крутить белье так, что кожа лопается на ладонях... А носить в ведрах из колодца? Греть, если стирается главное – отцова рубашка на выход, материна юбка, ее сарафан. И не греть, если надо быстро: не стирать, подстирнуть. По машинке Лариса уже скучает. А больше и не по чему.

Она спускается по оврагу. Сумка с вещами – на палке за спиной. С чем ушла, с тем и пришла. Зато повидала и фонари на улицах, и трамваи, и самолеты. Была за морями и океанами. Ела устриц, по вкусу похожих на рапанов. Носила высокие каблуки. Знает, что такое лифчики «пуш-ап»...

Из детства помнилось и виделось отчетливо: люди возвращались в поселок часто. Тогда казалось, возвращались стариками. Сейчас Лариса Петровна знает: старости нет. В нее невозможно войти ни болезнями, ни сединой и морщинами. Ни возрастом. Ни даже зеркалом. Отец говорил: «Гляжу на себя, знаю – семьдесят шесть. А внутри – восемнадцать. Хоть убей...» Тогда это не слышалось, а сейчас ясно: старости нет, есть только жизнь, в которой можно вернуться и купить козу. А потом вести в школах кружки, чинить велосипеды, петь на свадьбах, читать стихи на новогодних концертах, рисовать иконы, печь пирожные, переводить Рильке, точить ножи, шить модельное. И рассказывать о тридевяти дивном царстве, которое у каждого было своим. Пить, конечно. Но пригосудиться...

К дому Лариса Петровна приходит затемно. Ключ под крыльцом. Такой же ржавый, как замок. И такой же бесполезный. В поселке не принято закрывать двери. Здесь нет воров. Никому неохота пускаться в такой путь, чтобы украсть початок кукурузы или пару библиотечных книг. Тяжелый амбарный замок на двери означает, что человека долго нет дома. Иногда очень и очень долго.

Лампочек в доме нет. Их придется занимать, потом заказывать. Или чухать в райцентр – снова через овраг. Ноги у Ларисы Петровны гудят. А в голове – кто бы мог подумать? – усмехаясь, хозяйничает Киплинг. Единственный англичанин, чей язык открылся ей сразу и без труда.

Я шел сквозь ад шесть недель, и я клянусь:
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей,

Но пыль-пыль-пыль – пыль – от шагающих сапог,
И нет сражений на войне.

В последней строке – вечная проблема. Английское слово «discharge». Прямая цитата из Библии: «There is no discharge in that war». Нет избавления в этой войне.

«Ни сражений, ни избавления. Если, конечно, это и правда война...» – говорит Лариса Петровна.

Она улыбается. Киплинг хорош для всякой колонии – хоть африканской, хоть степной.

* * *

«Я сбрасываю звонок, папа. Три раза в день она звонит, а я сбрасываю звонок. Когда я смогу с ней поговорить? Я скучаю по маме...»

Павел Иванович вздыхает с облегчением. Веселится: «А по мне? По мне не скучаешь, сынок?»

«Да», – соглашается Павлуша: годовой доход теперь позволяет ему говорить правду.

«Да – не скучаешь?» – давит Павел Иванович.

«Скучаю. Я очень скучаю», – вздыхает Павлуша. Хороший мальчик. Теперь иностранец. В терминах Ивана Ивановича «предатель родины», «наймит» и, наверное, «шпион».

Чепец Павла Ивановича летит за мельницу. Ему нравится это выражение, хотя ни мельницы, ни чепца, ни людей, способных на такие олимпийские броски, он в жизни не видел. И между тем – летит.

Павел Иванович едет ужинать, раздумчиво перебирая, какую именно девку он будет плейбоить, обнадеживая своей вновь обретенной свободой, официально задекларированной виллой в Ницце и серьезными намерениями создать семейный склеп с милостивого благословения митрополита. Только плейбоить. А спать он будет с проститутками. Потому что они – его сила. Непостижимое – дурное и чуткое – женское они делают очень простым и за деньги. Качественно и безголово.

Трудный день завершается светскими разговорами о собачьих приютах, прерафаэлитах, Борисове-Мусатове и почему-то о стрелецкой казни. Рано утром Павел Иванович едет на эфир, чтобы сетовать на иностранных усыновителей, повальное пьянство в глубинке и радоваться социальным инновациям, которые вот-вот должны заработать в пилотных регионах.

После телевидения у него скайп-совещание: лица провинциальных чиновников – блестящие, благообразные, преданные – плавают по экрану, как рыбы в аквариуме. Смешат. В двенадцать он встречается с британским консулом, а в час принимает делегацию социальных работников Сенегала. Вместо обеда он имитирует ходьбу на лыжах на орбитреке и пятьдесят минут играет в сквош. В четыре после полудня – объекты. Дома престарелых он любит меньше, чем сиротские приюты. Но обещает везде одинаково, не беспокоясь о том, что запомнят и после спросят. Склероз в этом смысле так же хорош, как младенческая память. В семь вечера у него биоревитализация и мезотерапия. По средам с восьми до десяти платный секс. В другие дни до полуночи он работает с бумагами, а рано утром пишет в «Твиттер»: «Можем ли мы быть уверены, что Фредди Меркьюри раскаялся? Стоит ли повторять за ним: “Show must go on”? Какое именно шоу должно продолжаться?» Павел Иванович привычно укладывается в сто сорок знаков и пару часов наслаждается троллингом. Он хорошо знает правила этой забытой игры под названием «разбор персонального дела». Отец был в ней настоящим мастером.

Этой мысли Павел Иванович говорит: «Стоп!» Не для того наш папа повесился, чтобы в доме тихо было и мухи не кусали. Плохо понятый анекдот, принесенный Павлом из детского сада, отец счел дерзостью, сыновней непочтительностью и почему-то диссидентской ересью.

Ударил Павла по губам и приказал сорок минут мыть рот... Павел Иванович не силен в абсурде или думает, что не силен, но анекдотом этим спасается много лет.

Не для того распписание жизни сделано плотным, чтобы было время для мыслей, затягивающих туда, где твердой почвы под ногами нет. Не для того он обедает, прыгает, пожимает руки, перебирает бумаги, трется щекой о бритые и пудренные щеки коллег... Не для того, чтобы в конце недели на юбилее жены председателя одного из государственных комитетов натолкнуться на хмурые взгляды побежденных временем женщин.

Он напивается вдрызг, но ведет себя прилично. Хмельно прыгает глаз, но ноги, ноги держат. И его, и комок, который перекачивается от горла до самой задницы, натягивая то кишки, то слезные железы лишней жидкостью, готовой вырваться наружу. В таких состояниях Павел Иванович понимает отцово «ни вздохнуть, ни пёрнуть».

Он уходит, почти убегает, как ему кажется, по-английски. Находит в телефоне номер шамана и, обещая двойной, тройной, какой хочешь, гонорар, едет к нему – модному, медийно бубнящему идиоту.

«Догадайся, – требует Павел Иванович с порога. – Скажи, зачем я здесь?»

«Жена бросила», – равнодушно отвечает шаман, устало поглядывая на тяжелый посох, которым теперь час-другой придется стучать, разгоняя или созывая духов.

Не он.

Она.

Она его бросила. И сбежала в чужие края. Сбежала Мальвина, невеста моя.

Духи брезгают пьяным Павлом Ивановичем, и он чувствует себя унылым, сильно набеленным Пьеро в длинной белой рубашке, напоминающей смирительную.

* * *

Ночью в доме холодно, но топить пока нечем. Лариса надеется на круглосуточный ларек. Улыбается покойной свекрови Елене Семеновне, которая ей говорила: «Запомни, это у вас там ларьки, кульки и сыр, у нас – киоски, пакеты и творог».

Она запомнила, но идет в ларек, чтобы купить водки. Запойным можно, не стыдно. У ларька – жизнь. Три мужика обсуждают виды на урожай подсолнечника.

Маслобойный завод кормил поселок всегда: при царе, денкиныхцах, махновцах, красных, при немцах тоже. Во власти и в безвластии. Семечку тащили через овраг окрестные крестьяне, били в масло по ночам, сливали в высокие узкогорлые бутылки, грузили их в большие холщовые сумки с ляжками, сумки закидывали на плечи, уходили счастливые, оставляя плату сыром, салом, тканями или не всегда нужными деньгами.

Подсолнухи считались немножко сорняками. Они вымахивали в человеческий рост без полива, удобрений, правильной посадки. Они росли и под ливнями, и назло заморозкам. Они упорно находили солнце и разворачивались к нему все дни и все ночи. Взглядом этого поворота было никогда не поймать.

– Привет, Ляля. За водкой? С нами выпьешь?

– Привет, Юра. А есть?

– Так после десяти нет.

– Тогда выпью.

Лариса улыбается. Здесь она – Ляля. Детские дефекты речи. Непроизносимое «Лариса» сокращалось до «Лары». «Р» выпадала, «л» смягчалась, как смягчалось в поселке все.

– Привет, Митрич, привет, Саша. – Ляля узнаёт их всех. Лампа внутри ларька не выдает своих, прячет возраст изломами света. В полночь все превращаются в золушек. В тех, кто они есть на самом деле.

У Юры хорошие зубы. У Митрича, одноклассника, у Саши – почти соседа, через улицу второй дом слева – нет. А у Юры – хорошие, как цыганские. Лариса не помнит у него таких. Десять лет она списывала у него математику, а он дышал ей в затылок. Как не разглядела?

– Ну, за тебя, Ляля, – говорит Юра.

– Давайте, – соглашается Лариса.

Здесь не принято спрашивать: «Как ты?» С «как ты» все ясно, если ты есть, стоишь, пьешь, отзываешься на собственное имя.

– Спасибо. – Лариса закусывает протянутой Митричем конфеткой. – Пойду я.

– Проводить? – спрашивает Юра. – Я тут всех провожаю.

– Потом, – усмехается Лариса.

Потом наступит быстро. Как всем, так и нам.

Потом выяснится все про эти чертовы зубы, выросшие от барских щедрот. От аварии, в которой погибла его жена: «Маруся, помнишь?» Маруся – тихая, красивая, чуткая, как тушканчик. Когда пьяный мальчик въехал в машину, чтобы стереть Марусю и оставить его, Юру, он подумал: «Спасибо, Господи, что ты не дал нам детей». Маруся умерла такой целенькой, тихой, а Юра зачем-то выжил – покореженным, разломанным, злым. Вместо всего – кровь и мясо. Мальчик мчался, Юра стоял на обочине. В задаче спрашивается: кто виноват? А если мальчик – прокурорский сын? Зато Юре сделали зубы, залатали голову, аккуратно зашили то, что осталось от легкого, вставили отличный титановый стержень в ногу, вместо кости. Получился как новый. Дали инвалидность и два года условно. Но он провел их в больнице. Считай на курорте.

Потом наступит быстро, а в нем выяснится еще, что он – кобелище, к тому же запойный. Но дефицита в мужиках нет, особенно в таких. Тут отбивать не надо. Все по согласию. По желанию, если точно. А иначе что? Дрались бы за него бабы, а он бы пил-гулял и в ус не дул.

«А так дует?» – спросит потом Лариса у Митрича.

«Вдувает потихоньку», – нахально усмехнется тот.

* * *

У Павла Ивановича нет друзей. И никогда не было. В детстве это ощущалось через зависть. Мыслилось как нехватка или даже неполадка в собственном организме. Со временем стало ясно: мир – лестница. Чем ближе к вершине, тем меньше ступенек. Правильно задуманные дети не должны тащить за собой балласт. С собой можно брать только полезное и то, что не жалко сбросить. Наверху побеждает не тот, кто движется, а тот, кто дольше сохраняет равновесие при отсутствии движения. Велосипедисты называют это «сюрпляс». Великое искусство стоять.

Если у взрослого человека есть духовник и шаман, друзья ему не нужны. Но Павлу Ивановичу хочется с кем-то поговорить. Он понимает, что, даже если бы такой человек был, ничего бы не вышло. Без навыка доверять и чего-то еще, какой-то важной энергии тонкого мира, в который Павел Иванович верит, – ничего бы не вышло.

Лариса сказала ему: «Давай разведемся, Паша».

Он решил, что ослышался. Не понял. Страна не может развестись с Юрием Гагариным. Собака не может бросить хозяина, чтобы уйти в приют. Павел Иванович подумал, что это ультиматум, за которым последует перечисление требований по репарациям и контрибуциям. Было даже интересно, чего она захочет – шубу? Автомобиль? Переехать к нему за город? Потребовать верности? Он помнит, как усмехнулся, сел поудобнее, почти развалился на стуле, попросил сварить кофе...

А Лариса ничего не попросила. Она вообще редко чего просила. Дочку хотела назвать Наташей. Девять месяцев он соглашался, а когда дочь родилась, сказал: «Будет Леной». – «Ну как же? Ты же обещал!» – «Будет Леной», – повторил он.

Родители еще были живы. Отец жадно принимался ко времени. Мерил связями и деньгами новую географию. Хищно готовился к прыжку. Отсутствовал месяцами. Мать медленно сходила с ума. Забывала, какой день и час, могла днями не есть, не знала, где туалет, и острый запах мочи стал единственным запахом родительского дома. Лариса предлагала забрать мать к себе. Павлу это было неудобно. Ему нравилось навещать. Наведываться. Он ночевал у Елены Семеновны с разными подругами, представляя их медсестрами и сиделками. Дело было не в сексе, до которого часто не доходило, и не в жажде маленьких случайных приключений. Ему нужны были зрители материнского позора. Елена Семеновна протестовала: метила им туфли, как старая кошка. Когда Павел Иванович застукал мать, сидящую на корточках в коридоре, он едва сдержался, чтобы не дать ей затрещину. «Держи ровно спину, убери со стола локти...» Уроки хороших манер закончились. Но вместо жалости Павел испытывал стыдное торжество и безразличие. Он договорился с психиатрической клиникой и положил Елену Семеновну туда, полагая, что хороший уход и компания единомышленников – это как раз то, что нужно.

Лариса забрала мать домой. «Твое дело», – сказал Павел и переехал за город. Так было даже лучше – облицовка, бассейн, регулярный сад... Конечный этап строительства растянулся на годы. И Павел контролировал и вникал с интересом, который ему самому казался живым и здоровым. Ему было радостно и свободно.

Он влюбился тем летом. Он испытывал только счастье и ничего больше. Ни угрызений совести, ни беспокойства, ни тревоги, ни желания глядеть на себя со стороны и изнутри.

Любовь – это когда не нужно говорить «прости».

Любовь не нуждается в извинениях.

Любовь – это когда ни о чем не нужно жалеть.

Они смотрели «Love story» на видео. Кассета была лицензионной, хорошего качества, без перевода. Love means never having to say you're sorry.

«Не нуждается в извинениях», – настаивал он.

«Ни о чем не нужно жалеть», – смеялась она.

Жена карьерного дипломата. Рыжая, прошитая веснушками, как блестками. У нее была желтая лихорадка, которую она называла то желтым билетом, то золотой картой... У нее был муж, чья звезда загоралась в Юго-Восточной Азии. Она лечилась и уезжала, чтобы вернуться – с новым приступом болезни, приобретающей хроническую форму. Лето длилось почти пять лет.

«Ты убила меня в тридцать три... А похоронишь в тридцать семь», – говорил он, зная, что разведется и похоронит себя для других женщин, женившись на ней. Не для того, чтобы иметь детей, а для того, чтобы просыпаться с женщиной, рядом с которой мир не нуждается в извинениях.

Отец нагрязнул неожиданно. Попал в голость и предвечернюю случайную страсть. Одеться не дал. Сел в кресло, откашлялся. Налил себе вина из початой ими бутылки, выпил залпом, не пытаясь разобраться во вкусе, спросил: «Как порол его, знаешь? Рассказывал? Как пластинку Джо Дассена он у меня попер? Как прыщи свои, идиот, ртутной мазью натирал? Мать у него сейчас болеет. Знаешь?»

Она покачала головой.

«Значит, просто так третесь? – подытожил отец. – Пошла вон!»

Она засмеялась. Павел хотел надеяться, что это от неловкости, с перепугу. Но она смеялась раскатисто и содержательно, как дети в цирке.

Ощупывая все, что осталось от пяти лет безмятежности, Павел Иванович давно не называет это любовью. Но не обесценивает, потому что видит во всех ее веснушках открытие мира,

где у штанов, машин, вин и коньяков появлялись имена, годы рождения и причудливые биографии, которые хотелось почему-то знать. Наслаждаться ими. Пробовать. Покупать. Трогать. Владеть.

Этот мир, наверное, не впустил бы Павла Ивановича без экскурсовода. Да он и сам бы не пошел. Что толку рассматривать благостный портрет Беатриче Ченчи, не ведая, что она была отцеубийцей?

Для того чтобы у вина, запонок, фильмов, путешествий, автомобилей появились вкус и история, их надо разделить с кем-то знающим и готовым получать удовольствие снова и снова. Даже в аду может быть сыро, пыльно и скучно. Если рядом нет Вергилия, ад – это просто ад.

Она делилась с ним плесневелыми до гнили сырами, жареными кузнечиками, фиолетовыми тюльпанами, палаццо Барберини, нидерландской огранкой алмазов, всевозможными версиями Пьеты, курительными смесями и опиумным маком, смешными трусами Dolce&Gabbana, замками Луары, сухими завтраками из мюсли. Она попыталась разделить с Павлом и «приотцовый» свой смех. Звонила, приезжала, передавала через водителя милые подарки... Но он бросил ее окончательно и бесповоротно. Насытился...

Эту мысль, как и почти все другие, Павел Иванович додумывает до конца: насытился и понял, что эта радость может быть бесконечной, самозарождающейся, автономной. Ей не нужен спутник. Но и он сам, Павел Иванович, этой радости не нужен тоже.

Отец умер через месяц. Все «спасаемое наше» акционировал и выгодно, аккуратно продал. Деньги вывел из страны осторожно, пользуясь причудливыми, сложносочиненными схемами. Контрольный пакет оставил в двух нефтеперерабатывающих комбинатах. За неделю до смерти составил подробное завещание на трех языках. Заехал к Ларисе: попрощался с внуками и велел Елене Семеновне не задерживаться.

Павел помнит свое злое удивление. Она, Лариса, не всплеснула руками, не стала возражать, не нашла простых слов о крепком отцовом здоровье, с которым можно пережить не только детей, но и внуков. Она достала бутылку водки, соленые огурцы, капусту – сама ее квасила, как заведенная, всю зиму, – сварила картошку в мундире и послала Леночку за колбасой и черным хлебом.

Павел взорвался шепотом: «Что ты тут, дура, поминки устраиваешь?!»

«За стол садись», – спокойно сказала она.

Отец слышал. Он, тренированный исповедник, был чутким к заспанным разговорам, недосказанностям, интонациям... Улыбнулся: «Хорошая ты баба, Лариса, только бесхарактерная».

«Так характер – это от болезни. Зачем здоровому человеку характер?»

* * *

«Этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть, – повторяет про себя Павел Иванович. – Этого не может быть в нашем возрасте, в нашем положении, в нашей новой жизни... Этого не может быть. Этого не может быть со мной...»

Нет сил додумать эту мысль. И времени нет. У него эфир. Он эксперт на любимом вечернем шоу страны. Муж убил жену топором. Оба алкоголики-вырожденцы. Но высокий градус страсти.

Павел Иванович скорбит вместе со всеми женщинами державы. Он презрительно цедит: «Не мужчина тот, кто позволит себе даже в мыслях...»

Ведущий дежурно кивает Павлу Ивановичу и спрашивает у героя-убийцы: «Что вы сейчас чувствуете?»

Операторы надеются на искреннее слезливое раскаяние и дают крупный план.

«Чувствую? Так а больше ничего не чувствую. Так а не надо теперь думать, где она это, с кем она это... Хорошо я себя чувствую...»

* * *

Лариса обустроивается быстро. Покупает козу, загадывая корову на следующий год, белит потолок, намечает обои, заклеивая стены старыми газетами. За обоями приходится идти через овраг, в райцентр. Юра беретса помочь.

– На себе, Ляля, волочить замучаешься.

– А на тебе?

– И на мне замучаешься. Зато не скучно.

Она смеется. Не спрашивает ни о чем. Легко соглашается. Слушает. Всю дорогу слушает побасенки, сплетни, старые новости. Его болтовней поселок оживает. Посмеивается отец, кряхтит в огороде школьная директриса, немцы кричат через овраг: «Хайль Гитлер!»

– Ты помнишь? А наши им: «Хайль-то оно хайль, тока мотоциклы свои попортите... В грязи завязнете, а брать у нас нечего...»

Лариса кивает. В их истории немцы – дураки. Осенью через овраг лезть не стали. Дождались морозов. На задницах вниз скатились в касках и с автоматами, а выкарабкаться не смогли. Хотя можно было, можно было... Если на плечи – верхний бы вылез, других бы вытащил.

– Нет, – возражает Юра, – дядя Петя хромой в кустах сидел, в воздух стрелял... Для остратки... Что ж они, не понимали? Кто ж себе пулю хочет? Они потом на свою-то сторону выползли...

Дядя Петя был председателем поссовета. После войны его наградили. Потом посадили за то, за что наградили. Решили: раз не убил никого – значит, шпион. Живым в поселок дядя Петя не вернулся. Он пришел призраком. При здоровье и всяком благополучии увидеть его было нельзя. Но мужики клялись: стоило чуть перебраться – он тут как тут. С ружьем. Стреляет в воздух, но намекает, что в случае продолжения безобразий не промахнется. Дети его тоже видели. То шпору у кого отберет перед экзаменом, то подзатыльник за воровство соседских яблок отвесит. Говорили еще, что собирал белье с веревок перед самым дождем...

– Призрак строителя коммунизма, – говорит Юра.

– Ага, – соглашается Лариса.

Соглашается еще на то, чтобы Юра был. На «городской» стороне оврага они договариваются о правилах запоя, в котором Юра буйный зверь. «Сам уйду, сам приду. Не ходи, не ищи, не зови, не проверяй. А если найдешь, то ничего не надо и кормить тоже не надо... И после ни о чем не спрашивай. Да?»

У него ясные глаза, глядя в которые Лариса хочет спросить: «Мальчик, кем ты хочешь быть?»

Пьющие мальчики умудряются так ласково останавливать время, что у них и в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят есть светлое будущее. Они верят в прыжок, в чудо, в то, что печени хватит на любое перевоплощение, стоит только захотеть.

* * *

Павел Иванович всегда был уверен, что у него будет какая-то другая женщина. Он станет ее ждать, завоевывать, делать. Женщина представлялась легким, дымчатым привидением, из которого, как из портфеля, торчали немного банальные, почти бюрократические кусочки реального – тонкие руки с длинными пальцами, низкий, чуть хриплый голос, пряно-фруктовый запах, темные густые волосы. Воедино реальность не собиралась, потому что длинные пальцы завершались в воображении Павла Ивановича пугающими нарощенными ногтями, тем-

ные волосы сопровождалась узкой полоской усов над верхней губой, а хриплый голос просил то водки, то сигарет «Прима».

Ту, Другую, никак не удавалось придумать. Но он знал точно: она будет.

До развода Лариса воспринималась как нечаянная промежуточная станция. Досадная, нелепая, не им выбранная. Он чувствовал, что просто остался на перроне, когда пресловутый вагончик тронулся.

Теперь, после, он дотягивал свои скорби до точного словесного воплощения и формулировал жестко: «Лариса – это все, чего я заслуживал. А значит, я не заслуживал ничего. Никогда и ничего».

Низкорослая, круглолицая, двойной подбородок, пошлые губы бантиком, толстые руки, коленки, похожие на шляпки шампиньонов, русые волосы, которые по-деревенски кудрявились от макушки к затылку – от пота, от всякой влажности, и от сухости тоже, и даже от подушки.

«И вот это меня бросило...»

Он отказался от ходьбы на орбитреке, от плавания, от бега трусцой, он отказался от всего, что не занимало голову. За эти месяцы он устал зло перечислять свои явные и скрытые достоинства – титул, сан, деньги, власть, телевизионность, мужскую силу – перечислять самому себе, чтобы снова и снова наткнуться на неизменный результат: «И оно посмело меня бросить...»

И после этого грубого «оно посмело» Павел Иванович прожорливо сглатывал нараставший в горле комок и привычно заколачивал гвоздь в крышку своего очередного гроба: «Не заслуживаю ничего. Меня нет. Меня никогда не было... Так мне и надо...»

* * *

Он хотел быть рантье. Любил Маркса и политэкономия за случайно подаренную мечту: жить с процента от капиталов. Носить шляпу. Курить сигары. Разбираться в чем-то таком, чему не может быть никакого применения. Путешествовать с Той, Другой женщиной. Смотреть на солнце через ресницы.

Попробовал.

После смерти отца Павел Иванович попробовал быть рантье. Денег хватало. Но оказалось, что все его новые, свободные, дни начинаются тревогой и завершаются ею. Оказалось, что он не может, не умеет быть сам с собой. Женщины, которые могли бы стать его Другой, настоящей, ничего не меняли: они раздражали, требовали, капризничали, намекали, канючили и не понимали, зачем они вместе, если не брак, не дети и не шуба. Ни одной из них он не мог рассказать про прыщи и ртутную мазь, про мать, которой в последние годы так брезговал, что она ушла, как и было велено, не задерживаясь, через три месяца, вслед за отцом. И про отца... Чьи деньги были отравленными. Павел Иванович тратил их как будто легко, но каждый чек жег ему пальцы. Он не слышал в себе радости, потому что отовсюду звучал голос: «На мне всю жизнь собираешься ездить? Я тебе – путевку в жизнь, а ты мне что? Где показатели? Чем удивишь-похващаешь?..»

Вопросы эти были привычными и подлыми. Они оба – и живой, и ушедший – знали, что эти долги отдать не удалось еще никому.

Во власть Павел Иванович попал случайно, как-то даже лениво. Не карабкался, не встраивался в команду, даже не шел никуда. По шучьему велению, по Емелиному хотению, так, как происходит в стране все самое главное, встретил в аэропорту Кальяри однокурсника. Павел был с детьми. Однокурсник – без денег. Обидно ограбленный в городе-музее Оргозоло – «Бабки, карточки, телефон... Прикинь? А нам еще в Риме тусоваться», – он был «с горя сильно пьяным».

«Позвонить дашь?»

Павел почему-то дал ему денег. Не мало, но и не много. Так, чтобы если забыть, то почетному и навсегда.

Однокурсник нашел его в Москве через пару недель.

«Буду министром. Сделаю тебе департамент. Пойдешь начальником?»

Павел не удивился, не всплеснул руками, не спросил, каким министром, какого департамента. Но сразу поверил и сразу согласился.

«Удивить-похвастать» теперь было чем.

Но главное заключалось в том, что ему, Павлу Ивановичу, нравилось.

Нет, он не умел и не делал ничего значимого и уникального. И его коллеги – тоже. Все они вместе и по отдельности создавали штиль. Не в океане, не в море. Они делали штиль в пруду. Когда случайный ветер подхватывал малюсенькую волну, они надували щеки и усердно выравняли баланс. Это называлось стабильностью, которая всех устраивала.

Местом своим Павел Иванович дорожил, но не до судового. Через год-другой понял, что обойма не рассыпается, ни свежие, ни использованные патроны не выбрасываются на помойку. Чуть поблекшие, они оказываются советниками, помощниками, консультантами, представителями, главами фондов, председателями наблюдательных советов... Обойма не боялась «молдых львов», потому что молодые были детьми старых. И старая добрая династическая традиция укреплялась усилиями нового служилого люда, который либо воровал, либо приумножал наворованное ранее. Павел Иванович был из тех, кто приумножал. Но и в этом деликатном деле пуп не рвал. Если шло в руки – брал. Если мимо плыло – рек не останавливал.

«Не голодал ты в детстве», – как-то упрекнул его молодой коллега из оборонного ведомства.

«Повезло», – пожал плечами Павел.

Не голодал, да. Но чувствовал голод – и свой, и чужой. У них, у новых служилых, зов голода был одинаковым. Пожалуй, только Павел Иванович знал его секрет: из «меня нет» рождались все их явные и потаенные страсти по обозначенному мигалками, особняками, голливудскими клоунами, яхтами, самолетами присутствию. Желание быть хотя бы видимым гнало Павла Ивановича в телевизор, хотя мигалками он не брезговал тоже.

Но все это время – время славы и власти – он думал о том, что Другая женщина когда-нибудь обязательно сделает его живым и более или менее целым.

Эту мысль Павел Иванович додумывать не хочет. Ему нужно чем-то занять голову. Срочно. Он мечтает о внезапном визите социальных работников из очередного Сенегала. О форс-мажорном обрушении курса доллара или евро. Об экстренном вызове на ковер к императору.

Однако привычка – вторая натура. Он справляется с попыткой увильнуть. И в этой мысли, додуманной с горечью, Лариса оказывается его единственной женщиной. Его «Другой» и его «этой».

* * *

Пригождается пиджак, и самовязанный свитер, и даже туфли на маленьком каблуке. Хотя асфальта не было и нет, но в школе Лариса переобувается. Так принято. Так красиво.

«Английский и немецкий – прям шведский стол! – радуется директриса. – Нам бы еще итальянский... Если вот сама... осилишь? Чуть-чуть? Для торговых задач».

Лариса не обещает. Присматривается. Удивляется. Здесь, в поселке, всё – по случаю. Итальянские торговые задачи диктует стеклодувка. Промысел. Для городка – точно Божий.

Хороший кварцевый песок, почти без железа. Цех поставили областной прихотью сразу после войны. Думали – дорога, мост, вокзал, и пойдут наши люстры по всей стране.

Почему люстры? Кто тогда в поселке их видел? Включал? Люстры...

Выдували потихоньку подвески. Еще собачек, рыбок, серп и молот. Учились все. На уроках труда – вместо табуреток и огородничества, вместо яичниц и шитья фартуков... Выдували. Дули.

Зимой, когда дел почти нет. Когда пить и спать. Когда снег и ветер.

Ну почему не дуть?

«Теперь продаем в Венецию. Возим морем. Сделали на обрыве погрузочную точку, – говорит директриса. – У нас же Марат-итальянец вернулся... Ты его не помнишь. Он помладше был. Со мной учился. Красивый такой, татарин. Сейчас без ноги. Говорит, акула откусила. При погружении в воды Тирренского моря. Врет. Я в Интернете смотрела. Там акулы – редкость, а чтобы на человека напала, случая не было... Я тоже вру. Ничего не в Венецию. Нашим продаем. Ручная работа. Муранское стекло. Как будто... Поняла?»

«А итальянский тогда зачем?» – спрашивает Лариса.

«А сопроводительные документы? Марат как запьет – месяц без бумаг сидим. Люди нервничают...»

Лариса смеется. Директриса – ее зовут Тамара Ивановна – смеется тоже. «А года три назад, знаешь, мы выпиливали далекарлийских лошадок».

«А кто это?» – удивляется Лариса.

«Вот именно. Плохой бренд. Не пошли. Швеция это. Сувенир их местный...»

«У нас тут что, филиал Китая?»

«До Китая пока далеко, но мы над этим работаем...»

Всегда, пожалуй, над этим работали. Только не знали, что «как Китай». Мать Ларисы вязала мохеровые шапки и оренбургские платки. Потом, уже без Ларисы, варили джинсы, и мать просила передать с оказией, если почтой не получится, побольше отбеливателя, прищепок и резинок. Резинками обвязывали перед варкой брючины. А прищепками формировали складки – контуры будущих узоров...

Еще делали «черные колготки». Из обычных бежевых. Накрасили столько, что донашивали их и теперь.

Туфли-мыльницы, пластмассовые клипсы ярких цветов, заколки, футболки «Puma»... Всякий бизнес был модным, а потому коротким. Но какая стабильность, если живешь между оврагом и обрывом?

Стабильность – это коза. Даже Тамара Ивановна, уж на что у нее все было хорошо, держала «про всякое» козу. Двух коров, птицу еще. Кроликов, но их – первый год. Если пойдет, то о! «Может, станем тогда делать шубы? Шубы – хороший бизнес? Если стричь кроля под норку?.. Или красить под леопарда?»

«Болезнь у нас нельзя, да?» – вдруг спрашивает Лариса.

«А где можно? Ты скажи, где можно, поедем туда вместе...»

Нет. Лариса качает головой. У нее есть с кем вместе. Только она не знает, как правильно: спасти от водки или принять и жить с ней, думая, что водка – просто командировка. Она выполняет условия договора. Не ищет, не проверяет, не зовет назад. И не носит еды.

Знает, как знают все, что Юра показывает свои чудесные зубы ларьку, и мужикам, и продавщице, которая в эти дни дает в долг, а потом приходит к нему и берет все, что ей не дано.

Продавщица из ларька, из гастронома, из продуктового номер один и из продуктового номер два. Это разные продавщицы, но что за черт, что за черт, что за черт.

Когда Юра возвращается к себе, то возвращается и к ней тоже.

Она думает: был ведь кто-то до? До Ларисы и после Маруси. Кто-то же должен был быть. Спрашивает прямо, чтобы не носить в себе лишнего.

«Только ты», – говорит Юра.

«Буду верить», – думает Лариса. Она видит Юру красивым и молодым. Никакой душевной работы для этого не надо и усилий тоже никаких. Она просто видит его молодым. А татарина Марата – старым. О Марате нет давнего знания. А о Юре есть. И оно оказывается большим, чем память, потому что в нем нет покореженных скул, аккуратно собранной челюсти. В нем нет лет, прожитых без нее. Он тоже видит ее не такой, какой Лариса отражается в зеркале. Он видит ее почти такой, какой Лариса отражается сама в себе.

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря...» Она капризничала, он покорно и привычно ходил ради нее на поклоны. Старуха не знала, как ей сказать, что разбитое корыто – это то, чего она на самом деле хочет. Перед людьми было стыдно не желать, не требовать. Что-то они скажут? «Владычицей морскою» – это был ее сознательный перебор. Обозначая его как последнюю ступень счастья, она мечтала, чтобы где-нибудь на самом верху или в самом низу нашелся конец всякому терпению. Чтобы там лопнуло, разбилось вдребезги. И остались бы корыто, море и старик, которого все эти годы она видела только красивым. Всегда молодым. Хитрая-хитрая старуха. Лет, наверное, сорока с большим хвостом...

Лариса смеется.

У нее много радости: трудовая книжка, красное руководство, коза, новые обои, беленый потолок, а зимой, сразу после Нового года, она попробует дуть, а весной купит у Тамары телку, в крайнем случае – летом.

Будущее, конечно, радость портит. В него заглянешь, но не закутаешься. У будущего всегда неполадки, болезни. Отсюда – характер. Лариса не знает, как с ним совладать.

Здесь и сейчас, в новом настоящем, она своя, но пока – чужая. Надо пригнуться, но не высовываться. Никаких факультативов, кружков, бесплатных занятий, никакой благотворительности. В бескорыстие никто не верит. Бескорыстие – гордыня, надменность, дурость. Опасность, потому что не каждому это по силам. И расход пустой. И не расплатишься потом вовек. Не мудрить, не возвышаться. Просто уметь быть благодарным и должным. Дать, но принять плату. Потом, когда все привыкнут, когда появится право на чудачество, можно попробовать быть доброй, щедрой, глупой. Можно попробовать быть собой. Но пока – как всем, так и нам.

Она не спешит. Дышит. Здесь пахнет молоком, дегтем, морем, дождем, пылью, деревом, разогретым на солнце, здесь пахнет хозяйственным мылом, старыми книгами, мокрой землей и абрикосовым вареньем. Не дожидаясь новой весны, она сажает две яблони «уэлси». Думает, примут ли у нее посылки: деревянные ящики с круглыми дырками для воздуха, чтобы яблоки не испортились. Возьмут ли, если один адрес – это город Бирмингем, а другой – Франкфурт-на-Майне?

Марат-татарин говорит, что примут. Но только в Институте имени Сербского. Потому что посылать продукты в Евросоюз нельзя. И лишь натуральный псих может об этом не знать.

* * *

В конце лета Павел Иванович обнаруживает себя среди умных и дальновидных. Они думают, что у него не развод, а только способ сохранения имущества. Никто не ожидал, что будет сказано: власть должна быть бедной и чистой. Никто не верил, что придется забрать у себя бизнес, недвижимость и всякое богатство. Хорошо хоть нет пока команды переодеться в пыжиковые шапки и серые костюмы фабрики «Большевичка». Но возможная покупка часов за сто долларов уже пугает неопределенностью. Где вообще их продают? В переходах метро? На вещевых рынках?

Самые тревожные коллеги Павла Ивановича мысленно переходят от дешевых часов к стоянию в хлебных очередях. Городская булка, батон, кирпичик... А кругом вот эти вот... Люди.

Будущее кажется обидным и несправедливым. Служилый люд разводится поспешно и щедро. Щедро переписывая все на старых верных жен, чтоб им ни дна, ни покрывки. Заслужили. Высидели.

И старые жены при виде Павла Ивановича уже не фыркают и не раздувают ноздри. Он – законодатель моды. Умник, правильно распорядившийся имуществом: власть – себе, богатство – жене.

В этой новой разводной волне, где нажитое делится «по Уралу», мелкие молодые хищницы получают то, о чем мечтали, – свободного мужчину. Его седину – «соль с перцем», гипертонию – «красивый румянец», вялую эрекцию – «зато как висит замечательно». Они получают любовь. И кажется, страдают.

Павла Ивановича похлопывают по плечу. Смотрят уважительно и испуганно. Не могут понять: почуял или подсказали? Ему первому? Единственному? Избранному?

Павлу Ивановичу смешно. Но и страшно. Его личная история только с виду вписана в модный тренд. Внутри нее – совсем другое. Лариса, ушедшая без копейки. Неподеленные активы. Глупость. Жадность. И грусть.

Он мог сказать: «Развода не будет. На моей должности не разводятся. Терпи». Мог увеличить ей содержание. Купить что-нибудь: кольцо, бутик, поместье... Какой-нибудь смешной убыточный бизнес – пошив сапог, мыловаренный завод, страусиную ферму.

Старая корова. Старая корова. Старая...

Если бы она была молодая, никогда бы от него не ушла. «Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды». Если бы она не брила бороду – не выдергивала бы маленькие, ей одной видимые волосики возле верхней губы, – если бы она боялась костра, дорожила своим телом, если бы умела считать хотя бы до десяти миллионов, понимала бы толк в бриллиантах...

Время печальных новостей надо сверять по дешевым часам. Павлу Ивановичу больно признать... Но боль – его единственный друг, который иногда говорит правду. «Ничего сверхъестественного. Твоя старая корова была с тобой, потому что ты – это ты. И бросила, потому что ты – это ты».

Он пытается поймать в этой мысли неожиданно сладкий привкус, но неприятности сыплются на него, как на всех людей его круга, анонимно и интернетно.

«Борец за права детей спасает своих детей за границей», «Блюститель нравственности путается с проститутками», «Правительственный интеллектual признаётся в любви к Марксу». И уровнем ниже: «Проклятый кобель довел жену до психушки».

Павел Иванович превращается в мишень желтой прессы. Он понимает: подарок от коллег. Организованная травля. Возможно, санкционированная с самого верха. Но может быть, и нет. В конечном итоге, после всего, он скажет: «Меня порвали» или «Меня едва не порвали».

Отец говорил в таких случаях: «Съели». В отцовы времена хищники и падальщики были голодными. Они охотились для насыщения. Для пользы.

Теперь, в сытости, только рвали. А есть – не ели. Брезговали.

Павел Иванович отбивается, привычно укладываясь в сто сорок знаков. Дискуссия о политическом вегетарианстве разворачивается широко и бурно. Идет почти без его участия. И он переходит в атаку на других участках фронта. Без танков, пехоты, авиаприкрытия, без конницы даже... Его понарошковая война – сказочно средневековая. Есть только стрелы. И Павел Иванович посылает их не вслед сбежавшей лягушонке, а в спину каким-то незнакомым ему лично либералам-западникам, чьи фамилии во всех ушах государевой службы звучат как правильные попытки «матерно крыть Голливуд».

Заведенный, взбудораженный, он вдруг ощущает, что делает какое-то важное, не только свое, но и по-настоящему государственное дело, и от этого чувствует себя совершенно счастливым. Совсем не умея распоряжаться счастьем, Павел Иванович пугается и вызывает на скайп-конференцию детей.

«Вы свиньи! Вы выродки. Вы не разговариваете с матерью! Свиньи, свиньи... А вдруг она умерла? Паразиты!»

«Ты же сам сказал, – пожимает плечами Леночка. – Ты же сам велел. В интересах ее здоровья».

«А если бы я сказал прыгать головой вниз с девятого этажа?» – ревет Павел Иванович.

«Ногами вниз с девятого тоже без шансов», – ухмыляется Павлуша.

«А ты еще и ржешь?! Ты еще и ржешь с таким моральным обликом?!»

Павел Иванович заходится криком, не зная, как правильно разговаривать с ними – такими похожими на них обоих, на него и на Ларису, такими другими и такими любимыми. Он хороший отец. «Вертикальный», как говорит Павлуша, но отягощенный лишними знаниями о них: у Леночки две макушки, сопливая аллергия на амброзию, летом веснушки, а зимой – нет. У Павлуши очень длинные указательные пальцы, шрам на коленке – упал с велосипеда на битое стекло; у Леночки тоже шрам. Острый аппендицит, вырезанный urgently в небольшой больничке лавандового города Грасса. Павлуша ест, зажимая вилку в кулаке, некрасиво и без манер. Леночка часто икает, и тогда надо шептать: «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого...»

Он хороший отец и сделал все, чтобы дети не мучились с ним, с его старостью и немощью. Он спас их не только от родины, щедро питающей исключительно березовым соком, он спас их и от самого себя. Вывез.

«Чтобы быть чистым на войне, надо быть или на фронте, или в эвакуации, – сказал ему как-то Иван Иванович. – Хочешь не хочешь, на оккупированной территории ты сам становишься врагом».

Павел Иванович не хотел, чтобы дети его становились врагом.

«Пап, – зовет его Леночка. – Пап...»

«Не сердись, – вторит ей Павлуша. – Мы хорошие. Дать тебе мамин адрес?»

* * *

Дать.

У Павла Ивановича есть теперь настоящая причина, чтобы увидеть Ларису. Карьерная, рабочая, серьезная, не сопливая. Связанная с будущим детей. По-настоящему имущественная. Павел Иванович знает: тем, кто не очистится от зарубежных счетов, ничего не будет. Правосудие, конечно, выберет себе пару жертв. Но лишь потреплет их по загривку, чтобы все другие, не трепанные, сделали вид, что испугались. Таланта и сил на настоящий страх не хватит ни у режиссера, ни у исполнителей.

Зато народ будет верить в чистку. Лариса – народ.

Как доехать к народу-Ларисе, Павел Иванович не знает. Все юги, востоки и крайние северы страны он видел только из иллюминаторов самолета и больших окон губернских управ. Он помнит только ощущение безлюдных и молчаливых пространств. И больше ничего...

Идею официального визита Павел Иванович отвергает. Но отпуск не берет, рассчитывая управиться за выходные. Он заказывает и выкупает билеты на вечерний рейс до Ростова. И неожиданно натывается на бессилие Интернета, на его неспособность ни проложить оптимальный маршрут, ни дать ответ на вопрос: «Как доехать из районного центра А в поселок городского типа Б?»

Последний человек, улыбающийся ему в этом печальном road-movie, – стюардесса. В чужом аэропорту на Павла Ивановича нападают жара, запах застоявшегося лета и таксисты. Его никто здесь не узнаёт. Никто не цепляется взглядом, и ему кажется, что важный телевизионный сигнал из Москвы поступает сюда с такими же переборами, с какими приходят в эти места мода, газ и качественный асфальт. В липком тягучем ужасе незнания, как действовать и

что говорить, он ищет банкомат, чтобы снять деньги и, уверенно размахивая ими, преодолеть быстро наступающую южную ночь на машине, по дороге туда, куда «ехать не резон, потому что если угробить колеса, то как детей потом кормить?».

Павел Иванович не умеет просить. Он видит себя породистой собакой, от которой отказались хозяева. Он вышколенный, дрессированный чемпион. Но есть приходится на свалке, из чужих рук. Он неуклюже вертит хвостом, предлагает «московские деньги», и загорелый до черноты или просто невымытый водитель Руслан соглашается... «Сейчас возьму у бати старый “Москвич”. Сиди. Жди. Через час буду».

Команду «сидеть» пес Павел выполняет на «отлично».

* * *

Руслан и его «Москвич» выглядят усталыми. Фыркают и ругаются, едва ползут, объезжая ямы. Веселится только радио «Шансон», предвещая продолжение кошмара, в котором всё, о чем Павел Иванович никогда не задумывался всерьез: статья по малолетке, колокольный звон, письма с воли, поножовщина и любовь до гроба. Машина глохнет посреди дороги. Добрые люди дотягивают ее до райцентра. В двухместном номере гостиницы нет кондиционера, не открывается окно, зато есть комары и тарань, завернутая в газету. Презент от прошлых постояльцев.

Он не может заснуть, будит Руслана, будит администратора и идет у них на поводу, соглашаясь с тем, что водка – лучшее снотворное и надо просто уметь взять дозу. Они пьют до рассвета. Павел Иванович – молчаливо и грустно. А Руслан – весело, с братанием. На рассвете идут к оврагу пешком. Павел Иванович спотыкается у самой кромки и – все равно пропадать – съезжает на дно как есть. Отряхивается и неловко карабкается вверх. Руслан не ползет с ним. «Надо починить машину. Вечером будешь в аэропорту как штык!»

Дом Ларисы находится быстро. Павел Иванович не стучит. Он открывает незапертую дверь и входит бесшумно. Лариса спит. Лариса спит, обнимая чужого мужика. У нее полные ноги, под коленками – вены, прорисованные с неожиданным изяществом. Они похожи на реки с притоками и устьями, впадающими в море вылинявших цветов на простыне. Она похудела, как будто даже уменьшилась. Волосы короткие, ёжик, много седых, еще не окончательно белых. Серебряных. А подбородков все-таки два, и шея совсем не девичья, и курносый нос.

Она спит.

Она спит. И с этим ничего не поделаешь.

Павел Иванович возвращается к оврагу. Садится и закрывает лицо руками. Он не знает, как ему теперь быть. «Мамочка моя, – шепчет он. – Mamочка моя, как же так? Ну почему это со мной?»

– Я тут, внизу! – кричит Руслан. – Так и знал, что надо подождать. С этой стороны подъем круче. Пропасть, считай. Сам не вылезешь. Ты прыгай аккуратно, а потом я тебя подсажу. На плечи мне встанешь, понял?

Павел Иванович чувствует вдруг острую радость. Он думает, что этот парень, Руслан, все-таки узнал его. В это верится легко. И Павел Иванович ощущает себя большим и важным. Пусть не очень целым и не совсем живым, зато известным...

Еще несколько минут он не отрывает ладони от лица. Он «в домике», а потому не слышит, как отец орет ему: «Идиот, какой же ты идиот!..»

Отвращение

Отвращение – это единственное, что удерживает Савелия Вениаминовича на краю. Отчетливая, во всех ясных деталях картина, как он, Савелий, сидя на стуле, вдруг наклоняется и безудержно долго блюет на туфли из страусиной кожи. Туфли покрываются зловонной массой. И Первый, брезгливо поднимая выщипанную царственную бровь, цедит: «Забавно... Забавно...» Савелия хватают под мышки и выносят вон из кабинета. Вон из жизни. А он, крепко зажмурившись, продолжает блевать. Это не приносит облегчения. Но Савелий не может остановиться.

Эта картина, во всех ясных деталях, оттягивает-отвлекает от всего. Савелий думает только о спазмах, о приступах тошноты. Он боится. Но не болезни. Он боится, что когда-нибудь не сможет это контролировать.

* * *

– Ничего органического, Савелий Вениаминович, – сказал врач австрийской клиники. – Ничего органического. Анализы в пределах нормы. Надо систематически мерить давление, снизить уровень холестерина, снять нагрузки на печень. Вы еврей?

– Я губернатор, – сказал Савелий.

– Ну да, – согласился врач. Ухмыльнулся.

– Бенджамин Франклин, по-вашему, тоже еврей? Только из-за имени?

– Вы хорошо образованны...

– Я давно дружу со сто долларовыми купюрами. И умею читать. Однажды проявил уважение к портрету...

– Деньги тоже вызывают у вас отвращение?

– Я не знаю.

– А пища? Какая именно пища?

В клинику эту Савелий поехал по глупости и от страха. Здесь, в кабинете у врача, вспомнил, что в детстве всегда был голодным и небрезгливым. Чтобы получить лишнюю порцию супа, плевал одноклассникам в тарелки. Двум-трем обязательно. В драку с ним не лезли. Себе дороже. Да и суп – перловка, морковка и капля вонючего масла – того не стоил.

Отвращение к еде появилось не первым. Но испугало. Считывалось как предвестник смерти. И страшно было не умирать, а умирать долго и тяжело.

Жена-дура сначала грешила на повариху Наташу. Думала, что та ворует. Закупает несвежее, сливает оливковое масло, меняя его на прогорклое подсолнечное, крадет яйца, а им подсовывает готовый магазинный майонез.

Поставила на кухне видеокамеру. Каждый день – сериал из жизни Наташи. За два месяца слежки выяснилось, что Наташа таки ворует. Собирает недоеденное, упаковывает в пластмассовые контейнеры, складывает в большую хозяйственную сумку, выносит...

Выгнал. Сердце не дрогнуло. Вольному – воля.

Взял итальянца. Равиоли, паста болоньезе, телятина под розмариновым соусом, брускетты, каннелони, дорада, домашний хлеб...

Ужин, если Савелий Вениаминович желал есть дома, накрывали в малой столовой. Тарелки, супница, тяжелые серебряные приборы, салфетки, соусницы, белая льняная скатерть. Отвращение накатывало, едва Савелий придвигался к столу. Мутило от запахов, сводило живот, рот наполнялся вязкой слюной, и ее нужно было сглатывать. Сглатывать потихоньку, пряча взгляд от пустых глазниц рыбы дорады...

Он не мог ни есть, ни смотреть. Пластмассовые ногти жены, ее вывернутый уточкой рот, умеренное декольте, из которого чуть выглядывала припудренная и налитая чем-то правильным и модным грудь. Тошнило от ее голоса, запаха... От вида сыновей – рыхлых, длинноволосых, вялых – тоже тошнило. Фарфоровая улыбка повара-итальянца напоминала об унитазах и возможности вот прямо сейчас, сию секунду лишиться нарастающего внутри комка...

А теперь этот врач. Вьедливый, маленький, сам еврей, а спрашивает, в носу – волосы. Трудно купить триммер?

Волосы, козы-козюли, руки мягкие и теплые, пальцы короткие и тоже в волосах. Тошно-творный, как все вокруг, врач сказал:

– Вам нужно сделать МРТ. И желательно проконсультироваться у хорошего психиатра.

– Почему не у психотерапевта? Почему не у психоаналитика? Почему сразу психиатр? – набычился Савелий Вениаминович. – Я что, на голову жаловался? На шизофреника похож?

– Не надо так реагировать. Не хотите, как хотите. Повторяю: анализы в пределах нормы, ничего органического у вас нет. Но...

– Без «но», – сухо сказал Савелий. – Без «но», психиатров и МРТ.

* * *

Он подумал, что не надо было брать в поварахи Наташу. Сама, мать ее тетка, нашла его, причитала, просилась. Падала в ноги прямо в кабинете. И Савелий Вениаминович дал слабину. Пожалел.

А ведь с нее когда-то давно вся эта тошнилочка началась. Он просто забыл. А здесь, в Австрии, будь она неладна, вспомнил. С нее...

С Натальи Леонидовны.

В той жизни, которую Савелий преодолел, она была учительницей русского языка.

Двадцать шесть лет. Жила с матерью возле проходной шахты Ильичевская-бис. В центре города, считай. У всех на виду. Талия тонкая, губы розовые, перламутровые. Босоножки, туфли, сапоги – все на каблучках. И по грязи, по грязи... Училась в Киеве. Говорили, что путалась там с женатым, забеременела от него, неудачно почистилась, а потому считалась порченой и пропащей. Такой же порченой и пропащей, как все, кто возвращался домой с перебитым большими городами хребтом.

Она устроилась в школу. Глазки грустные, юбка длинная, каблучки – цок-цок. Вот вам, дети, Анна Каренина, вот «он мал и мерзок, но не так, как вы», а вот и Павел Корчагин. В жизни обязательно пригодится.

Савелий, хоть спецПТУ по нему и плакало, из школы не уходил. Девятый, десятый, а там видно будет. Жил с пьющей бабкой. Мать хвостолупила по просторам родины. Бывало, приезжала отдохнуть, пересидеть, бывало, даже присылала деньги. Отец со звучным именем Вениамин был фигурой мифической – то подлецом-космонавтом, то мерзавцем-пограничником, то алкашом-подводником. Героическое всегда уравнивалось бытовым.

Не исключено, что был евреем.

Денег всегда не хватало. В пятом классе Савелий перестал плевать в суп. Потому что плевки – слабая позиция. Сильным нужна сильная. Такая, когда тебе все несут сами. И колени у несущих дрожат. И если возьмешь, то не тебе, а им – хворым и сопливым – радость и уважение.

Савелий Шишкин считался уголовным элементом. Как и многие из их города-поселка, состоял на учете в детской комнате милиции. И жизнь его была распланирована, расписана, как по нотам. Он уворачивался, пока проскакивал, но толку? Впереди – зона, дружки-алкаши, маруха, дети-выродки... А и что? Ну воровал: на рынке, прямо с прилавка, или из кармана мог кошелек потянуть. У пьяного. Трешку себе брал, остальное на место. В штаны. Еще и

из сугробов дядек-шахтеров вынимал, до дома дотаскивал. Что, не стоит это трешки? Целый червонец мог бы брать... Но червонцев в кошельках-карманах не было...

Наталья Леонидовна первой его женщиной была. Ему шестнадцать, ей двадцать шесть. Тогда казалось – пропасть.

Духи у нее были уж-ж-жасные – сладкие, обволакивающие, замешанные на старости и нафталине, разлитые под мышки и под коленки. Зато готовила она хорошо: блины, макароны по-флотски с тушенкой, суп с клецками – жирный, с картошкой, с тушенкой той же, ложка просто стояла в кастрюле.

Как было вначале? Как-то было. То ли Наташкин глаз нехорошо блеснул, то ли бабка Савелия запила до драки...

На улицах холодно, в магазинах голодно, в карманах пусто. Последние шаги восьмидесятых. Потом будет еще краска красная, нескудная. А фон тот же – холодно, голодно и пусто.

Чтобы не замерзнуть, чтобы не пропасть, он сам подошел. «Ах, Наталья Леонидовна, мне бы дополнительно позаниматься, к сочинению подготовиться, потому что в училище военное поступать надумал, в военное, чтобы родину защищать. И кормили чтобы четыре года на всем готовом... А то с грамотностью у меня не очень...»

На самом деле все у него было нормально. И с грамотностью, и с памятью. И с реакцией тоже хорошо.

Ему бы условия, так стал бы и ученым. Жил бы себе на три копейки, носки протирал до дыр, не выбрасывал бы, штопал... Колбы покупал бы, колбы и реактивы... Водку бы придумал. Придумал и сам бы и пил.

Дурь...

Он подошел, она загорелась. Зарделась.

Позаниматься, да. Но оба знали, о чем говорят. Она специально подгадала, чтобы мать на смену ушла. Он трусы искал, чтобы без дырок и вида приличного. Не нашел. Надел штаны на голую жопу. Хотел бы джинсы надеть, да где было взять? Просить? Но друзей не было. Сильные не дружат. И не просят. И все такое...

Голой жопе в пару – голые ноги. В кроссовки. Кроссовки были от материных щедрот. Руки дрожали. Во рту сушило. Было страшно и несправедливо. Как-то противно.

А и ничего. Она ему суп, макароны, блины. Водку сует. Он: «Нет, не по нашей части». Рюмку из руки ее вытаскивает, а ладонь к губам подносит. Медленно. В глаза Наташке смотрит бесстыже (дома тренировался!), а ладошку целует. Ладошку, потом запястье, потом в сгиб локтя, в плечо, в шею... Все просто. Минутное дело.

Она попискивала что-то: «Ой, ну как ты можешь, ведь мы... ведь я...»

Жеманность. Запах душливый. В горле ком встал. Но и в штанах – встал. Не ком. Лом. Да какая разница? Она расстаралась, помогла. Учительница, سراка-мотыка.

К душливой сладости добавился запах селедки... Восторг был маленьким. Тошнота не отпускала. Он бросился в ванную. У Натахи с матерью была ванная – прямо на кухне, за шторкой. Рыгал фонтаном. Супчиком-макарошками-блинчиками. Разве ж можно так жрать?

* * *

Весь десятый класс Савелий ходил к Наталье Леонидовне заниматься. Книжки брал. Вроде как для отвода глаз. Брал – читал. Ставил на место.

Привык, пристрастился. Читал всегда. И с ней, и без нее. Кто ж тогда знал, что не надо было?

Смешно вспоминать, как она замуж за него хотела. «Вот поступишь ты в училище, переедешь, я там в школе место себе подыщу, подтянусь. Квартиру сниму. Поженемся, да?» Он кивал. А чего не кивнуть? Коленки у нее были детские, трогательные. И сыто.

Савелий так отъелся за полгода, что перестал узнавать себя в зеркале. Синева с лица ушла, волосы после любой косорукой парикмахерши стояли, как противотанковые ежи, narosло мясо, «мышца» в плечах, на спине; шея стала крепче, подбородок жестче. Если бы не круглые, навывкате, глаза, то настоящий Брюс Ли. Один в один.

* * *

Из Австрии он поехал в Танзанию. Мог бы извертеться, организовать рабочий визит, бюджет бы не лопнул. «У нас шахты, у вас шахты. Да, уголь не алмаз, но через время... Да, передовой опыт... Будем дружить регионами...» Можно было бы подложить проекты, найти слова, постучать в кабинеты. Можно было не тратиться. Государственные же люди.

Но отвращение. Иногда Савелий Вениаминович стоял перед столичным начальственным кабинетом и не мог открыть дверь. Не паника, нет. Он явственно видел опарышей: не ползающих, а поднимающих хвост... Или голову. Или что там у них? Белых, жирных, готовых упасть с двери, с дверной ручки, на пол, на ногу, готовых размножиться в сладком клейстере правильных слов, сказанных с сытым и брезгливым похохатыванием...

Он поехал в Танзанию. Купался в океане, рассматривал развалины Килва-Кисивани. Попросил гида свозить его на алмазную шахту. Думал купить себе. Не в Танзании, в другой стране. В Африке, да. Но светить ее было рано. Первый бы не понял.

У Савелия не могло быть никакой жизни без Первого. Свобода слова, передвижения и совести – все на контроле. «В Танзанию? Забавно. Привезешь мне оттуда... коровью лепешку», – рассмеялся Первый в телефонную трубку. Савелию было ясно, что Первый недоумен.

«Разве я слишком часто отдыхаю?» – осторожно спросил он. Проблеял. Склонил голову, опустил глаза. Как будто тот мог его видеть!

«А ты отдыхать?» – резко уточнил Первый.

«Нет. То есть да. То есть нет».

Савелий бормотал в пустую трубку, лебезил в пустой след. Не боялся, просто уже привык.

Алмазная шахта виделась как возможность побега. Достойного даже ухода. Почему нет?

Потому! «Потому!» – шипел в голове голос Первого. – Потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам! Потому что ты воровал. Ты стакана семечек не продал. Ты, млять, на диски своего “мерса” не заработал. Ты клоун дешевый. Ты тырил, пилил, ховал, делился – да, еще б ты не поделился! Ты ж копейки никуда не вложил, только, млять, в офшоры, в домики-домушки. Ты б хоть бордель где прикупил! Нам на старость, детям на радость. Что ты, Савлик, вообще можешь? Какая шахта? Тут думать надо каждый день, а не пионерить тупо. Кто в сорок с хреном лет думать-то начинает, когда привычки нет?»

Никогда и ничего не придумал. Не построил. Не создал. Только схемы. Только пилеж. И вывод. За границы нашей необъятной родины. По просьбам трудящихся, конечно... Ептыть.

А кто по-другому? Кто?

* * *

Первый был альфой и омегой. Началом и концом. На рассвете девяностых он нашел и выбрал Савелия сам.

Зачем? Последние десять лет Савелий Вениаминович каждый день давал себе слово об этом спросить. Задать прямой вопрос. Но подходящий момент так никогда и не наступил.

А сначала было не до вопросов.

Савелий поступил в военное училище. Конкурс был символический, перспективы нерадные, границы сомнительные, зато много генералов. И много войн.

После первого курса он уже точно знал, что и где плохо лежит. Хлеб в столовой, наглядные пособия, сапоги, постельное белье, кирпичи на майорской даче. Жена майора тоже лежала плохо, все время дергалась, орала, как кошка, и закусывала секс чесноком. Секс она называла «сношением». И Савелий не знал, от чего его мутит больше: от упругого запаха чеснока или от протяжного вопроса майорской половины: «Сношаться будем?»

Савелию не было стыдно. Ему вообще никогда не было стыдно. Все вокруг воровали, пили, брехали, носили драное под новым, а грязное распахивали по углам. Савелий был не хуже и не лучше.

О будущем смешно говорил философ: «От низших форм к высшим, от простого к сложному, от изобилия для избранных к богатству для всех». По мнению философа, это и был неизбежный прогресс. Савелий дергался. Где прогресс? Где этот рай для всех? Под терриконами, в посадках, в ларьках с «Севен-апом» и сигаретами «Бонд»? В танках, стреляющих то в Москве, то в Грозном?

Савелий был не дурак: в прогресс не верил, на настоящее не рассчитывал.

Вместе с прапорщиком воровал брезент. Шил из него палатки. Не один, с пацанами. Через начальника курса, молодого летеху, палатки продавали в «горячие точки». Воюйте, любенькие, бейтесь... Палаточки – сказки. Для живых и мертвых, для штабов и госпиталей. Для борделей тоже можно.

Повязали всех быстро, отмазали тоже быстро. Но не всех. На Савелии всё сошлось – концы, деньги, идея, цех пошивочный. Показания на него все дали. В особо крупных размерах. Ущерб государству. Такая статья хорошая, многолетняя. Наташка, сука, ни разу не пришла. И понять ее можно. Ну кому охота?..

А он – появился. Человек по прозвищу Первый: в костюмчике сером, с личиком тонким, губами узкими, глазами неприметными, но лучше бы и не глядеть в них.

По прозвищу Первый, по фамилии Перваков.

Забрал Савелия из СИЗО, повез на дачу, кулаком в морду въехал, чтобы без сомнений, кто в доме рабыня Изаура. Зуб выбил. Два, если разобраться. Один начисто на паркет вылетел, другой – осколком.

«Сдохнуть хочешь?» – спросил Первый.

«Ну, не хочу», – сказал Савелий.

«Вот и молодец».

Первый потрепал его по щеке. Как собаку. И резко ударил в живот.

Ноль реакции. Ноль...

О чем думалось тогда?

А детское было в голове. Глупо вспоминать даже. Решил, что батя нашелся. Такой себе батя – важный, при делах. Искал его, Савелия, – и вот... Нашел. Из тюрьмы вытащил, к делу пристроил. А что фамилию ему свою не дал – пустяк. Ерунда. И что Вениамином не был – тоже ясно. Такое имя только по пьянке можно было выдумать. Выдумать и сыну прицепить. Но с матери что возьмешь?

В общем, ничего для Первого Савелию не было жалко – ни зубов, ни жизни.

Потому что не бросил, а может, сам где отбывал. Сидел.

Такая потому что жизнь, такая страна: мужикам нет места. Если не в забое, не в тюрьме и не в запое.

Каждая клетка при мысли о том, что отец нашелся, звенела, каждый ноготь силой наливался. Выходило по-честному, по-людски. Без злодейства. Нашелся и для Савелия человек. Нашелся! Ура, товарищи.

Сколько он в это верил? Ну? Два дня? Три? А шесть почти лет не хотите?

Уже при должности был, уже при шофере, портфеле и в кабинеты вхожий. Молодой перспективный управленец, бывший военный. Ага. Два курса – чем не бывший? Верил. Кулаки

сжимал, чтоб сердце не выскочило. Ничто за унижение не считал. Ни что баб всех его Первый попробовал, ни что шагу без «отчитаться» сделать не дал. «Бэху» вишневую, самовольно Савелием купленную, бензином заставил облить, поджечь собственноручно и глядеть, как горит.

Конфетку «бэху». Лялечку.

Все прощалось, потому что как по-другому? Ведь отцом считал.

До конца тысячелетия. До стрельбы во дворе.

Савелий привез двухметровую голубую елку.

Первый шел к машине – оценить. Из подворотни – бугай с пистолетом. Гангстер, мать его тетка. Савелий первым увидел. Мгновение. Не секунда, не доля – атом времени. Бывает такое? Вот в этот атом успел Савелий голову Первого пригнуть и всего его к стене оттеснить. Нос ему, правда, разбил – случайно, в запаре. А сам получил пулю в плечо. Было больно. Хотел рукой за плечо схватиться, но нет, она ж в крови батиной. А кровь – важное дело в системе доказательств.

Дальше совсем смешно. Девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента дала генетическая экспертиза. То есть не дала.

Ни одного шанса.

Прощай, батя.

Здравствуй, миллениум.

Можно было бы напиться. Если в тридцать лет ума нет, то и не будет. И кто-то всегда казак, а кто-то, хоть тресни, поросячий хвост. Но не пило. Вообще. Не пило и не кололось.

Забить косяк – да, пройти по коксу – да, ЛСД – было, экстази – как грязи. Штырило, колбасило, но отпускало быстро. В голове было сумрачно, на душе тяжело, во рту сухо. Не привязало. И пробовать перестал.

Савелий подозревал, что с водкой могло сложиться. Скорее всего, сложилось бы любовно, сладко. Но обоссанная и заблеванная бабка действовала не хуже прививки.

Бабку, кстати, Савелий долго лечил. Зубы хотел вставить. Но она – ни в какую. Зубы, сказала, золотые, родительские, а водка – она же жизнь. Хоть верти, а хоть пруд пруди. Умерла культурно. Бахнула на ночь стакашку и отбыла в вечное плавание.

* * *

Рудник Вильямсона выглядел лучше, чем Ильичевская-бис. Чище. Всё в белом. Как в снегу. Но Савелий не верил. Хотел дожидаться ночи. Ночи и зимы. Хотел послушать, как воеет ветер, как из трещин в земле поднимается другая, не белая, пыль, как размокает, расплзается грязью. А по грязи ноги в рваных латаных ботинках. Спотыкаются, сгибаются в коленях... Только ноги. Лиц не видно. Лица – черные. Не от пыли – от жизни... Черные, спитые шахтерские лица. Алмазы, говорите?

Была у Савелия Вениаминовича идея. Он хотел в поселке своем, на малой родине, асфальт положить, завод конфетный наладить, фабрику текстильную запустить. Плюс маленькие магазинчики-стекляшки, чтобы круглосуточно, чтобы светились и музыка внутри играла. Импортная, с оптимизмом и полезным английским языком.

«Нет!» – сказал Первый.

«Почему? Пацаны тут просчитали... Бюджет потянет, бизнес подбросит. Почему нет?» – не возразил, а взмолился почти Савелий. Савелий Вениаминович уже.

«Нет. Это твоя дыра. И пусть будет. У каждого должна быть дыра. Чтобы помнили, откуда на белый свет народились и куда можете вернуться. Там гнить должно, Савлик. Пока там гниет, ты тут верный будешь. Чем больше дыр, тем выше прыжочек, да? На месте прыжочек... Забава наша. Усвоил?»

Мудро. Так жить, чтобы некуда было возвращаться. Чтобы от ужаса и страха каменеть, от возможности одной выгребной ямы, от воды, которая бежит желтой тонкой струйкой, это если бежит, чтобы от холода к печке, а от печки – угарным газом. Щеки красные, спать охота. И сам не знаешь, живешь или умер уже.

* * *

Гид по имени Питер, возивший по Танзании, был молчаливым. Высокий, худой, похожий на потемневшего от времени римского легионера, он ловко вел машину по отсутствующим дорогам, не включал радио, не пел себе под нос, не предлагал Савелию Вениаминовичу ни девочек, ни сувениры, ни охоту-сафари, ни даже поездку на озеро Виктория. Не хотел заработать, что ли? Вот! Растет, мать его тетка, благосостояние стран третьего мира.

– Давай людей посмотрим, – сказал Савелий Вениаминович.

– Купить? – нехорошо усмехнулся гид. – Купить хотите? – Помолчал и добавил: – Шутка.

Савелий дернулся. Почему не взял охранника? Почему не взял двух? Почему поехал без своего водителя?

Ничтожный червь Савлик. Дурачок. Один на один с этим негром он, пожалуй, справится. Но чернокожая братва прибежит на подмогу – и что? Кабздец? Смерть в саванне?

– Посмотреть. Какая жизнь. Просто посмотреть.

Английский Савелия Вениаминовича был маленьким и добрым, удобным для путешествий в Париж, на Мальдивы или на Сардинию. Для Африки пока годился... Кто же мог подумать, что надо больше? Что кому-то что-то еще придется объяснять. До драки или после...

– Масаи живут в больших деревнях. Я – масаи. Масаи – высший народ. У нас была школа. Я хорошо учился. Хотите посмотреть школу? Мою деревню?

– Я хочу настоящую.

– Моя тоже настоящая. Просто она как пример. Как очень хороший пример.

– Я понимаю.

Конечно, Савелий Вениаминович понимал. У него в губернии тоже были образцовые села, образцовые фермерские хозяйства, правофланговые школы, детские дома, пара заводов-красавчиков. Там все было вылизано, вычищено и почти по закону: подмытые коровы, дети, начальники транспортных цехов, санитарные книжки, сменная обувь, квалификационные комиссии и бесконечные визиты иностранных гостей.

На всякий случай Шишкин держал женскую организацию имени Параскевы Пятницы, на свои подкармливал общество филателистов и психиатрическую больницу, в которой лечили сном и трудом. Бабку свою туда сдавал раз несколько. Ну и осталось. Личная потому что связь.

Африка – она везде Африка.

Ехали на запад, за солнцем. За сезоном дождей, наступающим здесь вместо зимы. Почти степь, не жирная, не уходящая за горизонт, а прорезанная пламенеющими медными и красно-розовыми листьями странных кустарников, имени которых Савелий не знал.

Злился. Хотел есть. Хотел есть что-нибудь, грязными руками, на капоте машины, прямо сейчас.

В деревне Питера встречали как дорогого гостя. Савелия будто и не замечали даже. Питер сказал, что это из вежливости. «Когда ты приходишь домой, на тебя ведь не показывают пальцами? Не рассматривают твои зубы? Не виляют хвостом, когда ты приходишь домой?»

They wag the tail. Они виляют. Когда приходит Савелий, все виляют хвостом.

Дальше думать не хотелось. Отвращение, которое как будто упало на дно рудника Вильямсона и не смогло ни подняться, ни угнаться за ними, едущими за солнцем, дало знать о себе ноющей болью в виске.

– Я хочу есть.

– Идем, – позвал его Питер.

Дальше было невообразимое. Гид взял в руки короткую стрелу, подошел к корове, резким движением проткнул ей сонную артерию, как будто открыл кран с горячей водой, и подставил под струю глиняную миску. Бросил через плечо: «Из чашки удобнее, не так ли?» Улыбнулся. Протянул миску Савелию: «Ешь!»

Ешь, пей... Лечи подобное подобным, как говорил любимый гомеопат жены-дуры.

Савелий Вениаминович закрыл глаза. Представил, как наконец выложит все свои кишки и другие внутренности перед этим высшим народом, как выйдет из него все, что было и чего не было... Глотнул.

А ничего. Открыл глаза. Посмотрел в небо. Высокое, не допрыгнуть, не долететь. Смешное небо. В звездах уже. В звездах, как в веснушках. Глотнул снова. И снова, и еще раз.

Пил кровь.

Запачкал белый в мелкую темно-синюю полоску пиджак, капнул на тенниску, на черную. На ней не видно. Вытер губы тыльной стороной ладони. Увидел, как гид Питер замазывает коровью рану свежим навозом, вдохнул уж-ж-жасный этот запах. Рассмеялся.

Мужчины с удобными растянутыми ушами, лежащими почти на плечах (не, ну удобные же уши. Большие, да, пацаны?), рассмеялись тоже.

– Приглашают переночевать, если хотите, – сказал Питер, вытирая руки о тряпку.

– Нет, – качнул головой Савелий. – Сколько стоит ваш фирменный коктейль?

Он протянул Питеру деньги. И не дурачок. Иногда и умный. Наличка была. И если Питер за нее не убил, то почему не поделиться с его братьями?

Мужчины кивнули. Достоинно. Без вот этого привычного прогиба, присюсюкивания, без внутреннего матюка, без плевок в спину сквозь дырку, оставленную выбитым зубом.

Ехали тихо. Снова без музыки и не быстро. Ночь не была темной. Луна, как зонковский прожектор, освещала дорогу, кустарник и детей... Хлопцев, что спали в этих самых кустах.

– Почему тут спят? – спросил Савелий.

– Семь лет, десять лет. Взрослый. Взрослый живет сам. Умеет сам, возвращается в деревню. Умеет сам, приносит в деревню голову врага. Потом женится. Много жен, много детей... А корова не умрет, – сказал Питер.

– Я знаю. Она никогда не умрет, – кивнул Савелий.

Поговорили.

* * *

Язык – всегда свидетель. Опасный. В нем все, что было и чего не было. У Сталина был социализм, а у Зоценко – язык. Кому верить? Или вот «блат», «дефицит», теперь еще «откат», «распил»... Никто не слышит? Не слышал, что нет и не было в языке ни изобилия, ни реформ. Ничего...

«Книги тебе жизнь испортят», – предупреждал Первый. Был, как всегда, прав.

Не сразу, не быстро, но пришло это. Как будто в голову переводчика посадили. В середине девяностых, когда Первый только пристраивал Савелия к делу, глотались в разговорах-терках только матюки. Первому было можно, Савелию – ни-ни. Он глотал их легко, в паузах. Пока слово проходило через пищевод, успевал подумать, сообразить, переформулировать, соврать, да.

Перед условными своими, конечно, не стеснялся. Перед условными своими первым был он, Савелий.

Кто сверху, тот может и по правде сказать, с матушками и прочими суками. На высоких этажах – свобода. Так казалось.

Пролез, прополз, Первый протолкнул и крепко за задницу держал. И вот накося-выкуси.

Чем выше, тем хуже, тем туманнее. Из порожнего в пустое и обратно.

Савелий Вениаминович речи толкал и сам удивлялся: неужели верят? За чистую монету вот это всё, да?

За окном раздолбанные дороги, расписанные трещинами хрущевки, канализационные коллекторы, в которых тонут машины и люди. Снег – стихийное бедствие. Дождь – грязевые потоки. Дети на улицах не гуляют. Страшно, темно, стаи бродячих собак и смелых бомжей. А он говорит: «Мы достигли стабильности, реформа коммунального хозяйства позволила модернизировать триста метров труб. Социальные гарантии пенсионерам вывели эту группу в средний класс... Модернизация транспорта позволила решить проблему...»

Когда Савелий Вениаминович все это произносит, ему плохо. Знает, что голый король. Голый король в системе других голых королей. Но все молчат. Нет ни детей, ни других желающих лезть на рожон.

Оппозиция зато есть. Тоже со словами: «Мы настаиваем на изменении характера экономики региона. Мы не должны быть сырьевым придатком. Электронные технологии – это тот путь, который спасет страну...»

Те же яйца, вид сбоку... Козырьки над подъездами убивают не хуже гопников, лифты опять же... Осторожно, двери открываются – и очередной лох летит встречаться с апостолом Петром.

А если ветер, то деревья. На крыши машин, на проезжие части и на головы трудящихся. Технологии – это да. Обязательно вырутчат нас технологии.

«Тебе, что ли, за державу обидно?» – ехидно усмехнулся Первый, когда Савелий попробовал еще раз пробить свой проект по малой родине.

«Устал пустое говорить. Как смолу в глотку налили...»

«Ой, какие мы нежные. Ой, какие мы прозревшие. Ой, как нам не поздно все начать сначала. Забавный ты хомяк, Савлик. Чес-сно слово, забавный! – оживился даже Первый. – А ты попробуй. Попробуй, не ссы... С образования своего начни, ага...»

Язык знает, он чувствует, когда нет ничего настоящего, когда все куплено-заплачено, даже хорошие слова становятся стыдными.

У Савелия Вениаминовича два высших образования и кандидатская степень по экономике. Без единого захода в адрес. На защите своей – да, был. Пять минут позора, и всю жизнь кандидат наук. Позора особого не было. Но на новых визитках степень он больше не указывает.

Наткнулся потому что на такой сочувственный, брезгливый такой взгляд девицы-журналистки, что до костей пробрало.

Пробрало-ударило. Выходит, знают? Выходит, где-то, среди отстойных очкариков, ботанов (сколько их – один процент, полтора?), нищих бюджетников... Но знают? И не смеются даже, жалеют? Себя бы пожалели: ни украсть, ни пропить. Живут-ноют. Макарошки, ептыть, по-флотски.

Он заводил себя привычно. И в целом, и адресно. Мол, а сама она что? Соска папикова? Ну, не певица, как сейчас водится, а журналистка. Свитер в катышках. Сумка из козы-дерезы. Ей ли носом вертеть? Пигалица.

Но зацепила. Думал о ней часто. Не остывал никак. Штурмом решил взять. Та еще крепость.

Эксклюзивное интервью пообещал. Ага. В уютном кабаке. Винтаж, патинированная мебель, повар-француз реальный, тарелки подогретые, порции маленькие, чтобы пузо не растить. За роялем лабух. Классическая музыка. По просьбам трудящихся даже «Мурка».

В пресс-службе от этой его идеи на уши встали: «Зачем?! Такие риски, Савелий Вениаминович, такие риски... Вы ж сроду никогда ни с кем... Мы ж всю жизнь все тексты за вас, для вас... Ну, в общем, плохая идея».

Он уперся. Потому что был план: в коечку принцессу брезгливую, в коечку, в отельчике «Монте-Карло-бей». Потом шопинг, клубчик и машинка, на которую укажет ее пальчик во время променада по набережной-авеню имени принцессы Грейс. А?

«Я хочу, – написала пигалица на e-mail пресс-службы, – чтобы вы ответили честно на один вопрос: “Кто сделал вам в жизни Самое Плохое?”»

«Вам» с маленькой буквы, «Самое Плохое» с больших.

Савелий обиделся. Но и испугался тоже. Понял, что хотел бы с ней поговорить. Просто так, без диктофона, за жизнь.

Оценил это в себе как слабость, как бабство. И от интервью наотрез отказался.

Зато поменял визитки. Скромно и со вкусом: «Савелий Вениаминович Шишкин. Губернатор».

И никаких кандидатов экономических наук. Название губернии тоже на фиг... Вон у Первого на визитке были только имя и фамилия. Так люди квартиры продавали, чтобы картоночку эту из его рук получить. Разве ж коррупция? Если сами, по собственной воле продавали и чемоданами несли?

* * *

После пигалицы Савелий Вениаминович стал спотыкаться в словах. Когда зам его по сельскому хозяйству отвалил за орден полмиллиона здоровых денег, в горле, как в дорожной пробке, застряли поздравления. Не смог выдать ничего, поперхнулся мыслью: «Можно было и подешевле, надо знать, куда заносить...»

Орден. Благодарное отечество.

Догоняли его эти слова. До хвори догоняли.

От бесконечного повторения мантры про «улучшение благосостояния» немели ноги. От слова «любовь», спетого в ухо, рвало, как по заказу. Он мог бы составить энциклопедию болезней от этих пустых и ядовитых слов...

Каждый мог бы.

– Не спишь? – спросил гид Питер.

Савелий покачал головой.

– Тогда слушай сказку.

– У вас тут высокий уровень обслуживания, – ухмыльнулся Савелий.

– Давным-давно чибис боялся землетрясения и урагана. Он думал, что ночью небо может упасть на него и раздавить в лепешку. А обезьяна боялась, что воры и разбойники украдут землю, пока она спит. И только земляной червяк испугался голода: «О, если кончатся запасы в почве, которыми я питаюсь, тогда я умру, умру!» Вот почему чибис всегда спит на спине. Он задирает свои крошечные лапки, чтобы подпереть небо, если оно вдруг рухнет. А обезьяна каждую ночь трижды спускается с дерева, чтобы пощупать землю и убедиться, что разбойники еще не украли ее...

* * *

А Савелий не боялся. Поначалу не боялся, нет. Если разобраться, то ни Первого не боялся, ни команды его – подобранной в штрафбатах, СИЗО, на прочих площадках для молодняка.

Перло Савелия от счастья жрать что хочешь, от вольницы, от чужого страха. Он стрелял, в него стреляли.

Разок попали. А он – нет. Ни в кого и ни разу. Тут свезло. Ближе к сорока он понял, что было-таки место везению. Без мальчигов кровавых в глазах обошлось. Это да...

Жить-поживать да добра наживать было легко и даже весело. Тем более что добро прибавлялось как-то само собой.

Акции станкостроительного и химического заводов, компания по грузоперевозкам, стеклотрубопроводный цех (стоял закрытый, но в акциях был, значился), пара строительных фирм, еще по мелочи.

Записано на деток, жену-дуру и даже на мать. А чего бы и нет?

Только если вот Савелий дернется, придут люди, морды серые, бумажные, скажут: «Верните полюбовно, иначе как заплачет по вам наш суд, самый гуманный суд в мире...»

Если дернется Савелий в свою жизнь, останутся ему квартира, дача и домик у самого синего моря. Всё как у советских персональных пенсионеров. Пока ты в деле, ты Князь. Спрыгнул – свободен. И это еще хорошо, если свободен.

Не боялся, нет. Ни зоны, ни смерти. И так затянул. Если бы в двадцать лет сел, уже б пару лет как сдох. Перегулял Савелий Вениаминович. Перегулял.

Но вот так, чтобы оглянуться, вспомнить – получается, что и нечего.

Штаны хорошие научился носить и на других распознавать. Дядька-портной из Италии прямо в кабинет приезжал. Ну? Что еще... В часах разбираться, в автомобилях... Научился сразу видеть, как стырить процентов тридцать – сорок от проектной стоимости любого доброго дела на благо общества. Хорошую пластику груди тоже умел отличать от плохой. Хотя на ощупь все эти сиськи деланные так себе, не очень. Дутое оно дутое и есть, а если ночью такая дыня на голову свалится, то и коньки откинешь.

Морду умел делать чайником: брови свести, глаза в одну точку, рот в ниточку, чтобы все судьбы родины в складках вокруг были видны...

Что еще? Еда всякая, самолеты, яхты («Не больше десяти метров, понял? Тебе больше не положено!»).

Один раз сказал, не подумав, Первому: «Какие-то мы вредители получаемся...»

«О, мертвые заговорили, – ухмыльнулся тот. – Вредители? Да мы клей, понял? Мы – клей, чтобы не распалось, не разбежалось стадо. Чем дурнее, чтоб ты понял, чем хуже, голоднее, тем ближе друг к другу. Плечом к плечу. Кол-лек-тив... Государство».

«Волки – санитары леса?»

Савелий опомнился только тогда, когда на пол снова полетели зубы. Этих было жалче. Эти были фарфоровые, красивые, он ставил их долго. Дантистку свою (ну звучит же, звучит?) два раза в Таиланд вывез. И было жарко, и влажно, и целую неделю вообще-то беззубо. И он даже смеялся.

Первый бил Савелия без особого чувства. Не для боли, а для унижения. Но унижения как раз не было. Тошнило только сильнее обычного.

* * *

Пять лет назад, после похорон бабки, мать решила остаться в семье. Набегалась, умялась, никто ее не пригрел, не приглубил и в жены не взял.

«Я устала, сынок. Буду с вами, внуков вам понянчу, полы помою... Не прогонишь?»

Она смотрела в глаза Савелию так же, как все: преданно, жалобно и немного брезгливо. Он мог дать, а мог не дать. Но от этого «не дать» жизнь матери и всех других просителей не изменилась бы кардинально. Они остались бы на месте, там, где стояли.

Эту мысль Савелий никогда не мог додумать до конца. Вертелось в голове смутное представление о том, что остаться на месте – это лучше. Даже если это место – канава, барак, СИЗО, грунтовая дорога или, черт с ним, забой.

Но почему лучше?

Разве самогон или забытый напрочь «Тройной одеколон» лучше, чем виски? Надо было пить. Пробовать. Чтобы понимать, надо пробовать.

Он взял матери квартиру. Видеть ее каждый день в своем доме не было желания. Чужая женщина с тонкими чертами лица, визгливым голосом и холодным взглядом круглых серых глаз... У Савелия было много чужих женщин. В свой дом он их не водил.

Мать обиделась. Обиду компенсировала материально. Мебель, ремонт, море, домработница, собака размером с навозного жука, авто, к нему водитель, косметология, пластика, Милан, горные лыжи. Когда ей не хватало денег, приходила «навещать внуков» (ей было без разницы, что они оба с семи лет учились за границей) и взяхлеб ссорилась с женой-дурой. Или с ее матерью. Или с кем-то, кто попадался под руку.

За пять сытых и укорененных лет мать превратилась в светскую львицу – резиновую, тягучую, капризную и в смысле мозгов совершенно стерильную.

Зато она была нарядной. Вся в блестяшках, кружавчиках, мать постоянно побеждала черный цвет («Это моя миссия. Я не похоронный агент»). Как все другие львицы, она пела, рисовала, продавала свои наряды на благотворительных аукционах и давала бесконечные интервью.

Савелий ждал, что Первый скажет: «Выкинь или посади под замок, она тебя позорит». И он бы выкинул. Или посадил. С радостью. Но Первый переспал с ней для порядка. С ней и с виагрой. Переспал, объявил об этом и ухмылялся. Веселая ситуация, разве нет?

«Мама, ты проститутка?» – спросил Савелий. Он давно хотел об этом спросить. Во время каждого приезда-отъезда. Лет с пяти он пусто повторял этот вопрос за бабкой, лет с семи повторял его со смыслом. Про себя, не вслух... Знал: спросит – и будет драка. И бить будут его – «гаденьша», «выпердыша», «говнюка неблагодарного».

Был момент еще, когда мать стало жалко. Савелий увидел ее – тоненькую, замученную, глупую, да, ну и что? Увидел ее легкость, способность к радости, дурную веру в то, что все будет очень и очень хорошо, надо только не сдаваться, искать... И что-то там еще – надо. Он увидел ее такой в свои пятнадцать, устыдился. Решил не лезть.

Она, мать, на крыле была. Какой-то питерский нишник вроде звал замуж, хотя был, конечно, с алиментами, старыми родителями и зарплатой унылой, как их обшарпанный дворовый умывальник. Но, кажется, была любовь, перспектива, и мать присматривала в магазине «Клен» кушетку, которую можно было бы поставить для Савелия в их новой квартире.

Не срослось. Не взяли мать в Питер. Два месяца они с бабкой пили и ругались – друг на друга, на судьбу-злодейку, на мужиков-сволочей. А к лету мать укатила в Сочи. Говорила: буду мыть посуду, а как намою на комнатку в общежитии, так сразу тебя и заберу. Так что кушетку стереги-береги-присматривай.

Савелий, как дурак последний, присматривал. У кого Лувр-музей, у кого магазин «Клен». Это только кажется, что разные степени недостижимости. Только кажется.

«Ты проститутка?» – спросил Савелий.

«В моем возрасте это уже не обидный вопрос. Это комплимент», – заметила мать. Ей было пятьдесят восемь. Первому – семьдесят один. Нормально?

«Он хороший мужик, – твердо сказала мать. – Несчастный только».

Ясный пень. У нее все были сначала несчастные, потом сволочи. Несчастье – это такой единый проездной для каждой дуры под названием «женщина».

Глаза у матери раньше были круглыми, а теперь стали раскосыми, аккуратно подтянутыми к вискам. Силы у нее во взгляде никогда не было, а теперь и вовсе – олененок, мать ее тетка. Сжималось сердце, сжималось, куда денешься. И было тошно.

«У него сын – твой ровесник. Рассеянный склероз. Давно. Сейчас уже нет такого течения болезни. Все врачи говорят: нет сейчас такого течения, и жить можно с этим сто лет и практически без инвалидности. Но он еще в прошлом веке заболел, когда была совсем другая медицина и другие возможности. В кресле двадцать лет. Ни руки, ни ноги... Они за мышцы

языка сейчас сражаются, за гортань, чтобы ел и дышал. Понимаешь? Ты понимаешь, сколько это несчастья? Сынок?»

Нет, он не понимал. Мог объяснить, знал, как надо реагировать. Знал, что надо жалеть. Но не жалел.

Дровам в топке все равно, какой кровью обливается сердце дровосека. Савелий ощущал себя качественным поленом. И был уверен, что для Первого болезнь сына была пользой и ширмой. И не в ней было дело.

Горе – туз козырный. Но ходить с него можно один раз. А у нас привычка: если что, побеждать горем. На него равняться, с него картины писать – хоть героического сопротивления, хоть смерти голодной, хоть чего... Заказывай – не хочу.

– А земляной червяк, – сказал Питер, – теперь от страха тут же выплевывает все, что съедает. Он думает, что так сохраняет запасы еды.

– Рыгает, значит? – засыпая, спросил Савелий.

* * *

Утро в Танзании наступало быстро, солнце не церемонилось, не стучало деликатно, било в глаз, бросало в пот, сушило... И перемещалось по небу прыжками. Солнце здесь было дома. Хозяйничало.

От спанья под кустом ломило спину. Кой черт дернул его? Кой черт захотел стать «как мальчик масаи»?

Гид Питер сидел рядом, невозмутимый и величавый.

– Будем ехать или будем здесь жить? – спросил он.

– Разве здесь можно жить? – Савелий поднялся на ноги, отряхнулся. Затрещал-захрустел суставами. – Может быть, надо построить здесь дома, магазины, чтобы музыка играла, чтобы рабочие места? А?

Гид Питер смотрел на него жалостливо:

– Снова Киплинг. Все время Киплинг. Take up the White Man's burden...

Было много английских слов, которые рифмовались. Рифму, ритм Савелий понимал, кое-какие слова тоже... Звуки у Питера были гортанные. Он говорил тихо, но казалось, что где-то рядом кричит птица. Савелий спросил:

– Кто такой Киплинг? Киплинг – это «Маугли»?

– Я учился лучше, чем ты, – усмехнулся гид Питер.

– Я вообще не учился, – сказал Савелий. – Только в школе немного.

– Тогда зачем ты предлагаешь нам свою жизнь? Когда к нам приходит ваша цивилизация, мы много едим и пьем, мало думаем, быстро умираем.

– А мы воруем. Когда к нам приходит цивилизация, мы воруем.

– Нет. – Питер покачал головой. Показал зубы. Как будто улыбка. Но глаза его были серьезными. Гиду Питеру, мальчику-масаи, черножопому-голожопому, побирушке, живущему на чаевые от продажи родины, было жалко Савелия. Ну не срака-мотыка? – Нет. Мы не воруем. Мы берем то, что подарил нам всем бог Энгай.

– У нас другой бог.

– Но он тоже подарил вам все на свете. Вы можете брать это и пользоваться. Другие могут брать и пользоваться. Никто не может забрать все себе.

– Почему? – удивился Савелий.

– Ты не знаешь ответа на этот вопрос?

* * *

Да. Савелий не знал ответа на этот вопрос.

Был период, когда всего хотелось. Не детский – мамку-космос, джинсы-«Жигули», – а другой, осмысленный. В горле комом стояло: «Хочу! Могу! Буду!» Appetit был зверский, нос – по ветру. Ничем не брезговал. Хотел. Сначала квартиру – триста метров на двух этажах. Слова «джакузи», «инкрустация», «порш-дизайн» вкусно, как «барбариски», перекатывались во рту. Чтобы телек в каждой комнате, чтобы музыкальный центр, чтобы полы с подогревом и на пульте управления. И шторы, и свет, и люстры антикварные – тоже на управлении. Сам лично о кранах пекся. Кран-смеситель. Звучит? А если еще байда хрустальная нахлобучена и все это дело каратным золотом покрыто, то полное счастье.

Потом были дом и участок. Десять гектаров, лес – заповедная зона, пруд. Пруд чистили-мыли, докопались до ключей. А когда ключи, своя вода, – это не пруд, а уже озеро. Живая жизнь.

Мертвая тоже была. Картины стал собирать. Не старше восемнадцатого века. Щекастые бледные тетки, дядьки-гомики в туфлях на каблуках и в париках, в кружевах еще и с бантами (куда церковь, интересно, смотрела? Часто этот вопрос задавал. Братва смеялась. Савелию было приятно).

Из всей живописи ценил только натюрморты. Жрачку. Был у него любимый – селедка на бумаге, кружка с молоком, кувшин, кусок хлеба отгрызенный и пустая тарелка-миска. Стоял перед этой селедкой – до слез прошибало.

В доме все уже было по наивысшему разряду. Обои, инкрустированные перламутром, в кабинетах – шелк династии Цинь. Ковры ручной работы, говорили, вывезенные из резиденции иранского шаха. Яйца, конечно. Фаберже. Дверные ручки династии Медичи. Всей династии или ее ошметков, не знал. Понимал, конечно, что туфты ему впарили процентов пятьдесят. Но кто нам ревизор, антиквар и смотритель? Блестит, трещит, переливается... Красиво. Буклет сделали – пятьдесят страниц. Путеводитель по дому, чтобы не заплутал и знал, где у него винный погреб, а где зимний сад.

Бабка дома не видела. Только квартиру. На краешке дивана уюстилась, рюмку приняла, другую тоже. Выпила знатно, но не до песен. Сказала весело: «Вот и дожил ты, внучек, до коммунизма. А никто ж не верил». Икнула смачно и захрапела. А проснулась – сразу попросилась домой. «Не могу, – сказала, – в музей. Нормальному человеку ни пожрать, ни посрать. Нету мне здесь места».

Лес, озеро, сад, конюшня, беседки, охотничий домик, гараж на десять машин, своя автомойка, котельная тоже своя. А места нет. Нет и не было в этом доме места для Савелия. Вот поди ж ты, не умри вовремя, жри золото лопатой, а на выходе – что?

Коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Способности у Савелия Вениаминовича были маленькие, а потребности большие. Однако же срослось. Деньги как фактор шуршания и пересчета исчезли. Сначала из кошелька, а потом вообще. Деньги начинались с миллиона по безналу, а потому цены на хлеб, пальто, авто не имели смысла.

Не существовали эти цены. И люди, для которых они играли роль, не существовали тоже. Но и сам Савелий, если разобраться...

Только поговорить об этом было не с кем. Он вообще не разговаривал. Отдавал команды, слушал приказы, надувал щеки, фыркал, держал паузу, по-государственному разносил слова и интонировал речь. Но не разговаривал. Зато читал.

Детская привязанность к «Острову сокровищ» открыла ему Стивенсона. А Стивенсон – доктора Джекила и мистера Хайда.

Трагедия Джекила была понятна. Перло-перло и расперло. В команде губернатора Шишкина такие были. Чистенькие, идеально заточенные под классическую музыку, дипломатические приемы, гражданскую ответственность и маленькие зарубежные гранты на ее развитие. Им даже не надо было делать укол, чтобы вывести на свет божий Хайдов со всеми их натуральными причиндалами. Им надо было только предложить кусок пирога и вариант распила.

Сам Савелий, ясен-красен, был Хайдом с самого начала. Одни инстинкты. Он даже не знал, что их следует стесняться. В странной его истории плотно стоял другой вопрос: как, почему, за что этот ублюдочный пораженец Джекил стал подавать голос? Зная точно, что ему не вылезти и не победить, он свернулся клубком, дрожал как осиновый лист, но не переставая выпрыскивал внутрь то самое, что вызывало у Савелия стойкую реакцию отвращения к жизни.

Если бы Стивенсон был жив, губернатор Шишкин бросил бы все и поехал к нему: чисто рассказать. Рассказать и стать бомжом в Лондоне. Жене-дуре так было бы даже лучше.

* * *

Тем более что она не всегда была дурой. И не всегда – пластмассовым изделием. Ее звали Маша. Она жила с Савелием в одном поселке (они говорили «на». «На одном поселке»). Маша была дочерью заместителя районного прокурора. В их квартире – в единственной поселковой многоэтажке – были мусоропровод, лифт и горячая вода. Маша была чистенькая, как все дети из этого дома. Но страшенькая. Худая, ноги кривые, глаза мелкие, выданные на сдачу от длиннющего бугристого носа. Крупные, как у лошади, зубы. Между ними – дырки. Серые жидкие волосы, впалая грудь.

Ее хорошо кормили, весь поселок видел, как водитель выгружает коробки с обкомовскими пайками. Собаки собирались вокруг мгновенно, лаяли и заливались слюной. После того как водитель входил в подъезд, запах копченой колбасы стоял еще минут пять – десять. Собаки грустно ложились на землю – в пыль или в снег, по сезону – и счастливо дышали тем, о чем вообще не имели представления.

Да. Машу кормили хорошо, но все равно во всей ее фигуре ощущалась какая-то нехватка. Какой-то недостаток. Или даже больше – недоделка.

Ближе к сорока Савелий Вениаминович научился есть устриц, плесневые сыры, трюфеля. Есть и находить в них вкус. С красотой женской – так же. Неочевидность, неровность, погрешность – все, что материны журналы называли «изюминкой», – останавливали его взгляд. Ему стали интересны лица, а не ноги, ягодички и груди. Он находил привлекательной всякую природную неудачу. Ему нравились усилия, направленные на то, чтобы носить ее, неудачу, как орден. В этом было много смелости и вызова.

Но в юности хотелось Василису, а Маша была только лягушкой. Без возможности превращения.

Первый сказал: «Поухаживай и женись».

Савелий было дернулся, обиделся. Но тогда еще верил в отцовское и подумал, что это наставление. Согласился: почему нет? Пусть. Будет жена, будет дом.

Он не знал, как это, когда дом. Представлял приблизительно: стол, супница, вилки и ножи, салфетки полотняные, во главе – отец. В жизни, конечно, таких домов-супниц не видел. Но читал. Про дом всегда читал, а про любовь пролистывал. Пустое.

Маша была на четыре года старше, но в ней не ощущалось ни веса, ни жизни, ни лет. Савелий пришел на нее посмотреть в районный суд. После юрфака она работала там помощницей судьи.

Посмотрел.

Вышел.

Закрыв глаза, чтобы представить себе ее, и не смог. Не представил. Как будто кто-то тут же стер из памяти ее изображение. Пожаловался Первому: «Не могу ее запомнить».

«И хорошо, будешь приглядываться постепенно, есть шанс, что не скоро надоест».

«Мне бы фотокарточку, что ли...» – попытался пошутить Савелий.

«Заткнись и делай», – отрезал Первый.

Делать было нетрудно. Савелий снова пришел в суд, поймал Машу в коридоре, схватил за руку: «Мне не ясна, девушка, одна буква закона. Прошу помощи...»

Она улыбнулась: «Та самая буква, по которой ваше дело было закрыто?»

«Уже год как... – Савелий хищно улыбнулся, прищурился и спросил: – Значит, все обо всем в курсе? Значит, улица с двусторонним движением? Она шире, конечно, но машины едут в разные стороны, а?»

«Не вижу ничего плохого в том, что нас решили познакомить», – сказала она.

«Как породистых собачек...»

«Которых ты вряд ли видел...»

«Одну вот суку увидеть повезло», – хотел было сказать он, но вовремя остановился.

А с другой стороны?.. Вот совсем с другой. А что еще ей было делать, этой серой, неправильно вогнутой Маше? Притвориться Снегурочкой? Растаять с приходом весны? И врать от первой встречи до гробовой доски? В том, что гробовая доска будет у них общей, Савелий тогда не сомневался.

«Заведем собаку, не вопрос», – сказал он, продолжая держать Машу за руку.

Руки... Руки – это зона. Не шея-пупки, а руки. Руки первыми теряют волю к сопротивлению, сдаются, обмякают или, напротив, хаотично латают плечи, спину и что-нибудь даже еще. Они отвечают пульсом. Кровью. Почти по понятиям.

Рука Маши, сжатая Савелием у локтя, расслабилась, как будто даже увеличилась слегка в размерах и удобно разлеглась в его ладони.

Начали встречаться. Савелий ждал Машу у суда, провожал до подъезда. В подъезде задерживал, прижимал к батарее возле окна, неторопливо шупал пальто, расстегивал пуговицы, зарывался носом в лисий мех, пробирался к груди, разочарованно натываясь на ребра, опускал ладонь ниже и там тоже почему-то разочаровывался.

Была зима. И деньги уже были. И забегаловки, в которых пластмассовые столы покрывали синтетическими, с неожиданной электрической искрой, скатертями, а потолок зашивали мигающими лампочками-«цветомузыкой». Они назывались ресторанами или кафе, но водить в них Машу означало показывать и сравнивать. А когда Маша сбрасывала шкурку с лисьим воротником, лисью тоже шапку, разматывала длинный мохеровый шарф... Когда Маша сбрасывала все, что считалось в их поселке «дорого-богато», оставалась она сама. И предьявлять ее такую как трофей Савелию не хотелось.

Можно было ходить в кино. Но в кинотеатрах тогда продавали мебель, обои, автозапчасти. В кинотеатрах собирались люди по интересам – продавцы косметики, средств для похудения, каких-то лекарств, секретно гарантирующих бессмертие и преодоление бесплодия...

После подъезда Савелий шел домой. Хотя мог бы идти куда угодно.

В то счастливое бестелефонное время никто, даже Первый, никогда бы не смог сказать наверняка, с бабкой или с бабой ночевал Савелий.

Но других женщин тогда не хотелось. Мужское тихо слиняло и превратилось в детское. Для Савелия эти встречи оказались трудными, непривычными. Но что-то в них было, что-то важное, возможное. Единственное, что напрягало, – это батарея и необходимость расстегивать пуговицы.

Машка была ему товарищ. А раздевать товарища, чтобы проткнуть хрупкую дружбу детородным органом, – разве хорошо? Разве надо?

Ее, кстати, звали Майя. Майка. Очень подходящее имя для человека без внешности. Она сама назвалась Машей и стояла на том мертво.

«Брось, – говорил он. – Назовем дочку Инкой, а сына Ацтеком. И будет комплект».

Она обижалась. И это было хуже всего, потому что примиряться следовало поцелуями, недоразрешенными касаниями, ее быстрым обмяканием и протяжным хриплым стоном.

Савелий мог бы с ней говорить. Хотел говорить. Рассчитывал все-таки на двухполосную дорогу. Чтобы в одну сторону вместе. Но его автопарк вез тонны дружбы и, может быть, даже родственности. А маленькие автомобильчики Маши перевозили лишь страсть. Совпадало только направление.

В мае он был зван в дом, представлен родителям, опрошен, осмотрен, накормлен уткой с яблоками и тортом «Муравейник».

«Жениться когда думаете?» – спросил Машкин отец, Сергей Федорович.

«Папа!» – вспыхнула Машка и выбежала из-за стола.

«Жениться, говорю, когда? – строго повторил он. – Чего тянем? Куда тянем? Или поматросить и бросить собрался?»

«Нет. Деньги хочу подкопить. Кооператив купить. Или как у людей – квартиру», – ответил Савелий.

«У меня назначение в область. Повышение. Квартиру сделаем, пока однокомнатную. А тебе в исполкоме стульчик... Ну?»

За Машку стало почему-то обидно. Не такой уж она была лежалый товар, чтобы впаривать ее в нагрузку.

Позже, когда семейная река вошла в широкое, пологое русло и стала почти медленной и почти недвижимой, а пьяная, совсем как бабка, Машка надувала для своих слов слюнявые пузыри, он понял, что нагрузки не было. Она его высмотрела, вылюбила, назначила. Она его захотела. Как лисью шапку, как спортивный велик. Она сказала папе: «Купи!» И Сергей Федорович, почти съеденный злой, не разбирающей карьер, чинов и званий болезнью, нашел способ. Нашел Первого, с которым когда-то начинал государеву службу. И все совпало, потому что на каждый товар есть свой купец, а на каждую сделку своя печать.

Свадьба случилась в июле. Платье Машки зачем-то было с длинными рукавами, а его костюм – из плотной темной шерсти. Савелий помнил, как они с Машкой все время целовались и потели. И запах пота, резкого, кислого, чуть застоявшегося под мышками, перебил все другие запахи и чувства их первой брачной ночи. Ночи и утра, если точно. Их первого общего времени, в котором Савелию было подарено место – нетронутое, неношеное, удивительно бесстыдное и ненасытное.

Савелию казалось, что он сдает какой-то важный норматив. И от результата будет зависеть все. Это был не секс, а долг: хочешь, не хочешь – будешь!

Он был уверен, что мужчина не может сказать «нет». «Нет» – это для слабаков. В битве с простынями и подушками, с усталостью, со скрипом кровати, с солнцем, ударившим в пустое, бесшторное окно, с голодом, подававшим сигнал короткими болями в желудке... В этой битве он не мог проиграть. Но победа его не радовала. В ней был привкус резины и почему-то конюшни.

Свою часть договора Сергей Федорович выполнил. Стульчик оказался креслом заместителя отдела капитального строительства исполкома; в квартире с окнами на юг были горячая вода, унитаз, газовая плита. И этому чуду на исходе двадцатого века Савелий радовался больше, чем мог себе признать.

Через полгода после свадьбы тесть тихо умер, не причинив никому никакого беспокойства. Похороны его взяла на себя служба. Шел снег, играла музыка, в воздух стреляли трижды. Первого на похоронах не было.

Но Савелий работал на него. Сам уже не шил, не крал, не носил черную шапочку, которую, не стесняясь, называли пидоркой, не ездил на разборки «в районы». Теперь он курировал. Контролировал. И не только палатки.

Теперь у него были землеотводы, согласования, решения городских комиссий... Новая бумажная сила.

Как говорила бабка – «сила силеная».

* * *

В первый год жизни с Машкой, без Первого на утренних и вечерних поверках, без тестя уже, Савелий хотел доказать какую-то свою личную теорему. В ответе, который нужно было выстроить, все сходилось идеально: он сам, его силы, его личные деньги, часы с камушками для Машки и для нее же кожаный плащ.

В ответе – сходилось, но в условиях была дырка, что-то неназванное было, упущенное. Как будто кто-то стер посылки и следствия, чтобы нарочно создать между условием и решением пропасть или даже бездну.

Из ложного условия следовало ложное доказательство: Савелий думал, что он теперь сам. Сам-один. И сам-свободен. А не надо было думать, надо было сруливать.

Спрыгивать, бежать, хватать снова беременную Машку, недавно родившегося сына, не вызывавшего никакого чувства, кроме брезгливости. Но все равно – хватать. И бежать куда Макар телят не гонял...

Руки, державшие ножницы для его жизни, проливали кровь и собирали деньги где-то в условной Чечне.

Вообще тогда не приходило в голову, что они, эти руки, эти ножницы, не волшебные и ни разу не добрые, уже замахнулись, чтобы отрезать.

На сопельке, на ниточке, на волосочке болталась тогда возможность будущего. И был вкус у настоящего. Был – не приторный, не душный, не тошнотворный, а вполне себе вкус.

Почему Савелий выбрал остаться? Никто ведь не принуждал, не заставлял и не пугал даже.

«Ты, Савлик, все сам, все сам...» – скрипел в голове голос Первого.

* * *

– Приезжай в гости, – сказал Савелий Питеру. – У нас страна больших возможностей.

Они стояли у входа в здание аэропорта Дар-эс-Салам. Было жарко, но ветер уже дышал влажно, почти кашлял приближающимися дождями, в запахе которых Савелию чудился привкус полыни. Привычная горечь.

– У вас холодно. Очень холодно. Нужно покупать шапку, – улыбнулся Питер.

– А хочешь, я возьму тебя на работу? – предложил Савелий и испугался.

Живо увиделось: зима, сугробы, двухметровый поджарый негр в кроликовой шапке, в тонком пальтишке почему-то из «Детского мира», секретарша, Первый, Машка, совещание по планированию бюджета области с учетом иностранных инвестиций.

– Я тоже могу взять тебя на работу, – снова улыбнулся Питер.

И они оба засмеялись. Не от неловкости – от ровности. От ровности спины. Она была прямая у Питера. И у Савелия тоже была прямая.

Из Дар-эс-Салама летел в Дубай, оттуда в Москву. Из Москвы – домой.

На все про все ушло восемнадцать часов. Рейсы были состыкованы по уму. Потому что охранник Савелия был теперь больше логистик, чем телохранитель.

* * *

Пока летел, думал о том, что впервые за много лет вырвался куда-то один. В их кругу принято было передвигаться делегациями, семьями, большими компаниями. Стаями. В путешествиях по Нормандии, Сицилии или норвежским фьордам они должны были быть вместе. Вместе ловить рыбу, кататься на лыжах, греть пузо у бассейна, громко смеяться, горланить русские песни, лениво и снисходительно отпускать жен в загульный придиричивый шопинг.

Есть – завтракать с непромытыми лицами, ужинать в мишленовских ресторанах, обсуждать, как было в прошлый раз, поддевать официантов, называть американцев «тупыми», планировать каждый свой следующий шаг, каждый свой день и каждый луч солнца, выделенный им как представителям элиты.

Их тусы, купальники, отрыжки, волосатые ноги («Савелий Вениаминович, а как вы относитесь к эпиляции?»), быстро схваченные простуды и заслуженные обжорством поносы, их женщины, если принималось решение ехать без жен, их половые успехи (чаще проблемы) – все это считалось общим, делилось и умножалось («Не с убытков воровать, а с прибылей, запомни!») на всех.

В поездках все они склеивались должностями, деньгами, взаимными одолжениями, позволительными в их кругу пороками, чтобы не ощутить бессмысленности своей жизни.

Их жены или женщины, если решение «гульнуть по свободе» одобрялось Первым, рассаживались на золотом крыльце согласно рангам – царицы, царевны, королевы, королевшины, сапожницы, портнихи. И у них не было ни одного шанса хоть на мгновение поменяться местами.

Строго вписанные в табель о рангах, их жены и женщины ведали глупостями и делали это настойчиво и даже истерично. Поэтому из каждой поездки, где Савелий был условно третьим или даже вторым, приходилось привозить обещание купить кролика, которыми увлекалась жена московского прокурора (и покупать! Не одного, а парочку, а лучше две. «Чтобы разводить на своей ферме. Потому что это так мило...»). Или антикварный автомобиль – обещать и покупать его в салоне, которым владела женщина министра. Хуже всего были диеты и клиники подруг нефтяных чиновников. В клиниках надо было лежать и худеть. И они ложились и худели. Иначе и без того сложные отношения могли разрушиться вмиг...

Когда на смену одним женщинам приходили другие, кроликов и диету можно было выбросить. Их место тут же занимали болонки, лошади, финансирование гастролей или еще какая чума, навсегда включенная в список субвенций настоящей мужской дружбы.

А пигалицу эту Савелий узнал сразу. Выходило, что запала она ему в душу. Помнил. «Кто вам сделал Самое Плохое?» Ага.

Жена Маша суежилась на ресепшн. Она всегда суежилась, подозревая служащих всех отелей в том, что они всучат ей худший из возможных люксов – окна будут выходить на шумную улицу или в хозяйственный двор. Маша никогда не знала точно, что лучше. В разных отелях всегда было разное «лучше». И тем, другим женщинам, все время доставалось правильное «лучше». А ей, им – какое-то смешное, над чем шутили постоянно. «Опять вершки и корешки», – говорили в компании. И глаза Маши мгновенно наливались слезами. Она огорчалась так, как будто вид из окна был самой главной неудачей в ее жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.